

ВЛАДИМИР РАЕВСКИЙ



Фока
Бурлачук



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Annotation

В книге Фоки Бурлачука рассказывается об одном из декабристов — русском поэте, близком товарище А. С. Пушкина Владимире Федосеевиче Раевском. Прожив до конца свою жизнь в Сибири, В. Ф. Раевский сохранил верность свободолюбивым идеалам, его поэзия проникнута сочувствием народу, революционным пафосом, верой в правое дело.

[Адаптировано для AIReader]



-
- [Фока Бурлачук](#)
 -
 -
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)

.....

- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
 - [INFO](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
-

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 6

(675)

Фока Бурлачук

ВЛАДИМИР РАЕВСКИЙ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

*

Рецензенты:
член СП СССР *С. Т. РОМАНОВСКИЙ*
доктор исторических наук профессор
В. Г. ТЮКАВКИН

© Издательство «Молодая гвардия», 1987 г.

*ГРИГОРУ ТЮТЮННИКУ
посвящается*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«КТО ЖИЗНИ ПЛАН МОЕЙ ЧЕРТИЛ...»

*Места, где жил великий человек,
Священны: через сотни лет звучат
Его слова, его деяния — внукам.*

В. Гёте

В старинной слободе Хворостянке Курской губернии 28 марта 1795 года прошла молва: в семье отставного майора, надворного советника, дворянина Федосия Михайловича Раевского и его жены Александры Андреевны, до замужества княжны Фениной, родился третий сын. Прежде чем окрестить его, Федосий Михайлович зашел к священнику, дабы определить имя новорожденному. Пожилой близорукий священник надел очки, раскрыл святцы, через минуту изрек:

— Илларионом быть ему.

— Нет, батюшка, поглядите-ка, пожалуйста, еще, нет ли там имени Владимир? Мы очень хотели бы назвать его так в честь святого Владимира, — вежливо возразил Федосий Михайлович. — Не грешно же наше желание?

Батюшка молча снял очки, протер платком стекла, надел снова, уткнулся в святцы, тихо, про себя что-то бормотал, а затем вслух сказал:

— Верно, греха в этом нет, дело богоугодное. Ведомо, что в бозе почивший царь наш батюшка Петр Великий был рожден в день Исаакия Далматского, а нарекли его в честь святого Петра, твердого как камень.

Священник не мог отказать в просьбе столь уважаемому прихожанину, который позже на свои средства построил в Хворостянке церковь. На одном из камней фундамента виднелась надпись: «1804 года мая 18 дня усердием Федосия Михайловича и Александры Андреевны».

В один из воскресных дней праздновали крестины. Приехали гости из волости и губернии, где фамилия Раевских издавна была в большом почете. Когда Владимир рос, Александра Андреевна и Федосий Михайлович в шутку говорили, что им голубоглазого сына подбросили: он не был похож ни на одного из родителей, ни на своих старших братьев Александра и Андрея. А потом, уже во взрослеющем сыне родители подмечали черты характера, не сходные ни с кем из их детей.

Год спустя умерла императрица Екатерина II. Больше тридцати лет ей принадлежала царская корона. Правила государством с сорокамиллионным населением, языка которого почти не знала, но для большинства его считалась наместницей бога на земле.

Скорбя по императрице, обездоленный и порабощенный ею люд не подозревал, что именно она своими указами разрешила помещикам отсылать людей на каторжные работы «на толикое время, насколько он захочет, их брать обратно, когда пожелает». Крепостному крестьянину запрещалось подавать жалобы на своих господ. Помещику было дано право ссылать своих дворовых людей и крестьян в Сибирь, требовать заключения в смиренный дом, даже не указав причины, по которой «сия мера применяется...».

«Крепостные, — гласил указ, — составляют частную собственность их господ, от которых они вполне зависят». Екатерина часто похвалялась перед иностранными дипломатами, будто в доме каждого второго крестьянина на ужин курица, тогда как

закрепощенный ею люд постоянно испытывал нужду, голод и унижение. Единственным кусочком свободной земли оставалась тогда еще Запорожская Сечь, и то до того времени, пока казаки участвовали в войнах против турок и татар.

В 1775 году Екатерина решила уничтожить запорожскую вольницу. По ее повелению Потемкин окружил Сечь своими войсками и обманным путем вызвал и арестовал кошевого Калнишевского — войскового писаря и войскового судью. Войско запорожское было объявлено распущенным.

Помолиться за упокой души Екатерины II в церковь пошел и Федосин Михайлович.

Церковь стояла на самом видном месте. Два голубых купола, увенчанных золотыми крестами, отражали первые солнечные лучи.

Для Федосия Михайловича церковь была особенно дорога: в ней он венчался, крестил своих детей, в ней отпевали родителей.

Войдя в церковь, Федосий Михайлович перекрестился, с благоговением приложился к кресту, затем по старым скрипучим ступенькам поднялся на колокольню, сунул звонарю несколько ассигнаций, велел поусерднее извещать прихожан о постигшем их горе.

Возвратившись из церкви домой, Федосий Михайлович узнал, что его постигло горе: тяжело заболел Владимир.

Случалось прежде, что хворали старшие дети, но так тяжело, как Владимир, никто не болел. Он не поднимался с постели, лежал в сильном жару и таял, словно свеча. За несколько часов осунулся, стал неузнаваемый. Позвали уездного врача, который прописал мальчику лекарства, но они не помогали. Александра Андреевна пригласила знахарку — бабушку Акулину, славившуюся тем, что «любую хворь изгнать

умела». Акулина окропила мальчика святой водицей, в изголовье положила пучок сухой травки, потом зажгла свечу и долго читала молитву. Щедро отблагодаренная хозяйкой, уходя, знахарка сказала, что «на все воля божья». А тем временем Владимир, не открывая глаз, тихо стонал и, казалось, угасал. Отчаявшийся Федосий Михайлович помчался в Курск и привез оттуда лекаря. Доктор внимательно осмотрел мальчика, пощупал пульс, спросил, сколько дней болеет, никакого лекарства не выписал, а в конце тихо сказал Федосию Михайловичу:

— Поздно. Ничем помочь не могу.

— Неужели нет никакой надежды? — пересохшими губами спросил Федосий Михайлович.

— К сожалению, любезный Федосий Михайлович.

После ухода лекаря Александра Андреевна все поняла по лицу мужа. Рыдая, она ушла в дальнюю комнату.

В тот день слуга был послан за священником, а заодно Федосий Михайлович распорядился об изготовлении гроба. Вечером вся семья и прислуга Раевских собралась в комнате, где умирал Володя; опустившись на колени, они молча с ним попрощались и разошлись. С ребенком осталась одна няня. Александра Андреевна последней ушла к себе в комнату и до утра не сомкнула глаз. А когда пропели первые петухи, она, крадучись, подошла к дверям, готовая к самому страшному. Не открывая двери, прислушалась и услышала тихий, но бодрый голос няни, слов не разобрала. Рванула дверь и чуть не вскрикнула от радости: сын сидел на руках няни и с чайной ложечки пил молоко. Вскоре весь дом был поднят на ноги. Радость захватила всех. Федосий Михайлович со слезами радости ворвался в комнату сына, погладив его ладонью по влажной головке и напевая мотив походной песни, вышел во двор. Зашел в сарай, в котором лежал

маленький, пахнувший смолой деревянный гроб, взял топор и несколькими ударами разбил его.

Спустя годы в семье вспоминали этот случай и радовались, что Владимир никогда больше не болел.

Федосий Михайлович старался дать детям хорошее образование, особое внимание, как это было принято тогда, уделял изучению иностранных языков. Для этой цели он пригласил гувернеров-иностранцев из разорившихся дворян: немку фон Каппель и француза де Кусто. Крестьяне села, да и прислуга Раевских фамилии их переиначили: немку звали Каплей, а француза Кустом.

С раннего детства Владимир увлекался чтением книг. Одним из любимых его писателей был греческий историк и философ Плутарх, которым он зачитывался, особенно восхищался римскими военачальниками и спартанцами. В играх всегда подражал им. Внешнему подражанию помогала его врожденная черта — выдвинутая вперед нижняя челюсть, которую он нарочно выпячивал еще больше, что придавало его лицу выражение упорства и некой высокомерности. Все это постепенно вошло в привычку, что особенно не нравилось сестрам, но их уговоры не делать так не имели воздействия. Уже когда Владимир повзрослел, сестры советовали ему отрастить бороду и усы, чтобы замаскировать врожденный недостаток. Военные игры во время каникул целиком захватывали Владимира. Однажды в канун его приезда отец пригласил дворового столяра Красникова и, показав ему рисунки оружия и военных доспехов спартанцев, попросил сделать деревянный меч, щит и шлем. Плотник великолепно справился с заданием, и «доспехи» были изготовлены к приезду Владимира, который с гордостью носил их, удивляя и вызывая зависть деревенских мальчишек. Именно тогда Федосий

Михайлович в шутку прозвал сына Спартанцем. Это имя часто повторяли сестры и братья Владимира, а потом незаметно оно закрепилось за ним и повторялось его товарищами по Московскому университетскому пансиону и кадетскому корпусу.

Много лет спустя, вспоминая отца, Владимир Раевский отмечал: «Отец мой был отставной майор екатерининской службы; человек живого ума, деятельный, враг насилия, он пользовался уважением всего дворянства. Любил ли меня отец наравне с братьями, — я не хотел знать, но он верил мне более других братьев, надеялся на меня одного, — я это знал. Он хорошо понимал меня в письмах своих, вместо эпиграфа начинал: «Не будь горд — гордым бог противен», в моих ответах я писал: «Смирение паче гордости».

Позже Владимир в стихе, посвященном своей старшей дочери, писал о своих годах упорной учебы:

*...А я в твои молодые годы
Людей и света не видал...
И много лет не знал свободы,
Одних товарищей я знал,
В моем учебном заключенья,
Где время шло, как день один,
Без жизни, красок и картин,
В желаньях, скуке и ученьи.
Там в книгах я людей и свет узнал...*

Вспомнил также о своей alma mater: «Кто были учителя первого в России учебного заведения? Самые посредственные люди в нижних классах. В высших классах большею частью (исключая двух-трех профессоров во все 8 лет моего пребывания) педанты, педагоги по ремеслу, профессора по летам, парадные

шуты по образу и свойству. И этим-то людям было вверено образование лучшего юношества в России».

В старших классах Владимир увлекся математикой и историей, а затем русской и греческой мифологией. Тогда он мечтал посвятить всю жизнь одной из полюбившихся наук, но отец решил по-другому: добился зачисления Владимира в Дворянский полк при 2-м кадетском корпусе в Петербурге. В кадетском корпусе учились исключительно дети знатных особ, не зря же шефом корпуса был сам великий князь Константин Павлович, который лично знал кадета Раевского, питал к нему симпатию и однажды вручил подарок за отменные успехи.

С первых дней пребывания в Дворянском полку Раевский подружился с кадетом Гавриилом Батеньковым. Эту дружбу они пронесут через всю жизнь. Когда шло следствие по делу декабристов, арестованный подполковник Батеньков вспомнит о днях учебы с Раевским: «С ним мы проводили целые вечера в патриотических мечтаниях, ибо приближалась страшная эпоха 1812 года. Мы развивали друг другу свободные идеи, и желания наши, так сказать, поощрялись ненавистью к фронтовой службе. С ним в первый раз осмелился я говорить о царе яко о человеке и осуждать поступки с нами цесаревича». А цесаревич Константин Павлович и впрямь чудил. По своей прихоти устраивал разные бессмысленные учения, чрезмерно увлекался шагистикой, от чего испытывал величайшее наслаждение, и конечно же, не пропускал разводов. Запятнал он свою репутацию одним гнусным делом. В начале царствования Александра I Константин влюбился в жену придворного ювелира Елизавету Араужо, которая на весь Петербург славилась красотой. Как-то Константин через посредника сделал ей оскорбительное предложение, которое она отклонила с презрением. Константин не успокоился. Он дважды

повторил ей предложение и дважды получил отрицательный ответ. Как, ему, цесаревичу, отказывают? Нет, он это так не оставит! Однажды под вечер к дому ювелира подъехала закрытая карета, будто бы от больной родственницы жены ювелира. Ничего не подозревая, Елизавета вышла и села в карету. Там, в карете, ее схватили, зажали рот и отвезли в Мраморный дворец, где по указанию Константина ее уже ожидали конногвардейцы... Затем отвезли обратно к своему дому. Дома Елизавета только успела сказать мужу, что она обещана, и тут же скончалась...

О случившемся говорили во всем Петербурге. Император Александр I велел создать специальную комиссию для расследования случившегося; однако все дело закончилось тем, что мужу Елизаветы Араужо вручили крупную сумму денег и велели выехать за границу, что он и сделал. После этого Константину дали кличку «покровитель разврата».

...Учиться было нелегко, однако Раевский и Батеньков в свободное от занятий время много читали. Сочинения Николая Новикова, талантливого русского писателя, смело вскрывавшего язвы крепостнического строя России, стали их первой книгой. Тогда по Петербургу ходило в списках запрещенное «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Друзья достали это сочинение. Однажды в воскресный день, уединившись, читали «Путешествие» вслух. В это время проходил дежурный офицер; он незамеченным подошел к кадетам и взял из рук Раевского «Путешествие», небрежно полистал его, возвратил, при этом сказал: «Я думал, что-либо интересное». К счастью, дежурный офицер обучал кадетов шагистике и был не очень силен в литературе. Зачитывались Раевский и Батеньков также произведениями Гельвеция «Об уме», Руссо и Вольтера. Пожалуй, самый глубокий

след в их умах оставила ода «Вольность» Радищева, она поразила их своей смелостью и откровенностью. Не зря же императрица Екатерина II писала о ней: «Ода совершенно явно и ясно бунтовская, где царям грозит плахой... Сий страницы суть крамольного намерения, совершенно бунтовские». Юные друзья сочувствовали Радищеву, поплатившемуся за свою смелость: его приговорили к смертной казни, а потом казнь «милостиво» заменили ссылкой. Закованного в тяжелые кандалы Радищева отправили в Сибирь. «Боже мой, хотели убить человека за то, что рассказал людям правду», — не раз возмущался Раевский.

На всю жизнь запомнился Владимиру день 12 мая 1812 года. На улице было пасмурно и прохладно, но радость согревала выпускников полка: в этот день они надели офицерские погоны. В новой офицерской форме Владимир возвращался с торжеств в казарму. На улице неожиданно встретил сияющего отца. Отец не сообщил, что приедет в Петербург, но Владимир догадывался, что он не сможет удержаться от того, чтобы вместе не порадоваться такому важному событию.

— Поздравляю, — обнимая сына, сказал Федосий Михайлович. — Сестры велели и за них тебя поцеловать. Куда же назначен?

— В 23-ю артиллерийскую бригаду, — с гордостью ответил Владимир.

— А твой друг туда же?

— Нет, Батенькова назначили в 13-ю.

В Петербурге Федосий Михайлович прослышал, что надвигается война с Наполеоном, сыну он осторожно сказал об этом. Владимир улыбнулся:

— Это не новость. Сейчас об этом говорят везде.

Федосий Михайлович затеял разговор о надвигающейся войне для того, чтобы узнать, как будет смотреть Владимир, если он примет меры оставить его в Петербурге. Начал издали:

— Война губительна для ратников. На войне кругом смерть... Надобно избежать ее...

— Кого избежать — войны или смерти? — вопросительно взглянул на отца Владимир. — Мне непонятно, зачем вы, отец, затеяли этот разговор? Я не посрамлю нашу фамилию...

— Для того, Володенька, что, как тебе ведомо, у меня в Петербурге много влиятельных друзей, которые...

— Которые могут оставить вашего сына в Петербурге? — упредил отца Владимир.

— А что в этом плохого, сынок? Многие поступают подобным образом...

Лицо Владимира помрачнело:

— Это очень плохо, отец, вы из-за жалости ко мне хотите спрятать меня за чужие спины, а если грянет война, то и за чужие жизни; не вы ли, отец, еще в детстве прозвали меня спартанцем? Оказывается, вы меня еще плохо знаете. Предательства в отношении моих товарищей и друзей я никогда не допущу и на сделку с собственной совестью никогда не пойду, даже если бы мне это стоило жизни...

Федосий Михайлович извинился перед сыном и как бы в оправдание закончил:

— Я сказал тебе то, что сказала бы тебе твоя покойная мать, я как бы от ее имени, извини.

Лицо Владимира повеселело:

— Вам, отец, впору на дипломатическую работу переходить...

— Может, на несколько дней поедem домой? Там ведь тебя сестры ждут, — спросил Федосий Михайлович и как-то по-новому взглянул на повзрослевшего и возмужавшего сына.

— Нет, отец, сперва поеду в свою бригаду, а в июне или в июле попрошусь в отпуск. Вы сами не раз поучали: «Прежде всего дело!»

— Очень жаль, — тяжело вздохнул Федосий Михайлович. — А что же я скажу дома? Мне наказывали без тебя не приезжать.

— Думаю, что они не обидятся на меня, если я приеду немножко позже...

Вечером, проводив отца, Владимир вместе с Гавриилом Батеньковым вышли на Дворцовую площадь. Владимир, что-то вспомнив, сказал другу:

— Гавриил, каждый раз, когда я попадаю на набережную Невы, мне всегда кажется, что под моими ногами трещат человеческие кости. Ты такое не испытываешь?

— Нет. С чего ты это взял?

— Из истории, из истории... Он все-таки прорубил окно в Европу. Только с Черниговской губернии сюда пригнали десять тысяч казаков, и ни один не вернулся! Дорого обошлось нашему народу это «окно». Сказывают, историческая необходимость.

Раевский на минуту замолчал, продолжил:

— Существует предание, что Петр I спросил у своего шута Балакирева: какая молва ходит в народе о новой столице С.-Петербурга? «Царь, государь! — ответил Балакирев. — Народ говорит, что с одной стороны море, с другой горе, с третьей — мох, а с четвертой — ох!»

Петр рассвирепел и закричал: «Ложись!» Ударяя шута дубинкой, приговаривал: «Вот те море, вот те горе, а вот это мох, а вот это ох!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

«СУДЬБА НАМ МЕЧ ВРУЧИЛА»

*Идя на войну, мы расстались друзьями
и обещались сойтись, дабы в то время,
когда возмужаем, стараться привести
идеи наши в действие.*

Г. Батеньков

Французский император уже с 1809 года усиленно готовился к войне с Россией. «Через пять лет я буду господином мира, остается одна Россия, но я раздавлю ее», — говорил Наполеон.

К весне 1812 года армия Наполеона насчитывала уже свыше миллиона человек. Для вторжения в Россию французский император подготовил 600-тысячную армию, основную часть которой сосредоточил на Немане.

Скрыть это от России было трудно, поэтому Наполеон заранее поучал своего посла в Петербурге, графа Лористона, дабы тот, решительно все отрицал и тем самым: «...Вы выиграете пять-шесть дней, — наставлял Наполеон, — а затем вы скажете, что на время возродожания хлеба выгодно удалить войска из окрестностей Парижа... и наконец, вы скажете, что «его величество действительно сосредоточивает свои силы; что Россия, ведя переговоры и не желая войны, давным-давно сосредоточила свои войска; его величество тоже не хочет войны, но ему угодно вести переговоры при одинаковых с Россией условиях...». Дипломатическими зигзагами Наполеон стремился обмануть русского императора; это ему в какой-то степени удалось.

Тринадцатого июня в Вильно на загородной даче графа Беннигсена в честь императора Александра I генерал-адъютантами был устроен большой бал. В течение месячного пребывания царя с его огромной свитой в Вильно балы были не редкость, но по размаху, по количеству приглашенных гостей, по изобилию угощений этот бал превосходил все прежние. Царя нисколько не смущало то, что три русские армии, находящиеся в пограничной полосе, не имели единого плана действий, как и не было единого командующего. Царь, как и прежде, увлекался смотрами, парадами. План общих действий на случай войны в свое время был разработан и представлен Багратионом, но император, по предложению своего главного военного советника генерала Пфуля, этот план не принял, а тот, который выработал Пфуль, русские генералы не без основания считали планом сумасшедшего.

В двенадцатом часу ночи император в паре с графиней Безуховой, прибывшей из Петербурга, танцевал мазурку. В середине танца генерал-адъютант императора Балашов приблизился к оркестру и рукою дал знать дирижеру, чтобы тот приостановил игру. Музыка тут же оборвалась к недоумению всех находящихся в зале.

Балашов быстро подошел к императору, вполголоса доложил:

— Ваше величество, имеется весьма важное сообщение.

Александр I вежливо поклонился графине, взял Балашова под руку, увел в отдельный кабинет. Император с тревогой выслушал сообщение о переходе войск Наполеона через Неман. Посоветовавшись с Аракчеевым, сел за письмо к Наполеону. Было далеко за полночь. В зале еще гремел оркестр, когда император позвал Балашова, подавая ему письмо, сказал:

— Отправляйтесь к Наполеону и привезите мне его ответ. Вместе с вами поедет гвардейский поручик, мой флигель-адъютант Михаил Орлов, состоящий при штабе Барклая-де-Толли.

Орлов приходился племянником известному екатерининскому вельможе Григорию Орлову, получившему воспитание в аристократическом пансионе аббата Николя. Балашов его знал как весьма способного, умного и энергичного офицера, участвовавшего не раз в боях. Отправляясь в стан неприятеля, Орлов имел еще одно секретное задание: «Выведать состояние французских войск, разведать их дух».

Он блестяще справился с заданием, возвратившись, обо всем доложил в специальном «Бюллетене особых известий».

За Орловым утвердилась слава хорошего разведчика. В одном из донесений императору Кутузов писал: «Кавалергардского полка поручик Орлов, посланный парламентаром... для узнавания о взятии в плен генерал-майора Тучкова, после десятидневного содержания его у неприятеля донес мне... довольно подробные сведения о численном составе армии французов».

Накануне Бородинского сражения генерал Багратион в сопровождении своего адъютанта Давыдова осматривал позиции врага. В отличие от других генералов Багратион осмотр позиций производил не верхом на лошади, а пешком, «дабы побольше увидеть». Было сумрачно. Кое-где горели костры. Все ожидали боя решительного, а посему солдаты и офицеры надевали чистое белье: бой для многих будет последним. Уйти к праотцам полагалось в чистом белье. Такова старинная традиция. Ее неизменно придерживался каждый, от солдата до

главнокомандующего. Солдаты переодевались прямо в поле. Проходя мимо костра, возле которого сидела группа солдат, Багратион услышал незнакомую песню, замедлил шаг. Чей-то баритон спокойно, отчетливо тянул:

*Нет, нет, судьба нам меч вручила,
Чтобы покой отцов хранить,
Мила за родину могила,
Без родины поносно жить!*

— Хорошие слова. Впервые слышу, — признался генерал. — Интересно, кто же сочинил песню? — спросил Багратион, не надеясь получить ответ.

Однако Давыдов ответил:

— Песню сию сочинил артиллерийский прапорщик Владимир Раевский, а музыку солдаты сами придумали...

— Вот как! — удивился Багратион и добавил: — Слышал слова «мила за родину могила»? Бог весть, сколько могил завтра будет, но я прошу тебя, милый Василий, запомнить мой завет: ежели мне суждено будет остаться завтра на поле брани, похороните меня с моими верными солдатами. — Сказав эти слова, Багратион ускорил шаг: его догоняли и бодрили призывные слова песни:

*Друзья! В пылу огней сраженья —
Обет наш: «Пасть иль победить!»*

Друзья Раевского часто восхищались не только его находчивостью в бою, но и поэтическим дарованием.

«Песнь воинов перед сраженьем» была его первым военным сочинением.

*Заутра грозный час отмщенья,
Заутра, други, станем в строй,
Не страшно битвы приближенье
Тому, кто дышит лишь войной!..
Сыны полуночи суровой,
Мы знаем смело смерть встречать,
Нам бури, вихрь и хлад знакомы.
Пускай с полсветом хищный тать
Нахлынут, злобой ополченный,
В пределы наши лавр стяжать;
Их сонмы буйные несчетны,
Но нам не нужно их считать.
Пусть старец вождь прострет рукою
И скажет: «Там упорный враг!»
Рассеем громы перед собою —
И исполин стоглавый — в прах!..
.....
К мечам!.. Там ждет нас подвиг славы,
Пред нами смерть, и огонь, и гром,
За нами горы тел кровавых,
И враг с растерзанным челом
В плену ждет низкою спасенья!..
Труба, соратник наш, гремит!..*

Это и другие его стихотворения анонимно распространились в рукописных списках по всей армии.

Накануне боя Раевский написал письмо домой. Он понимал, что, быть может, оно окажется последним, но духом не падал, свято верил в победу русских войск. В письме хвалил главнокомандующего Кутузова, которому особо доверяли солдаты.

На батарее, у пушек, были назначены дежурные, а всем прочим позволено отдыхать, но никто в ту ночь не сомкнул глаз. Солдаты сидели и тихо беседовали. Когда

на батарею была привезена водка и позволено было испить положенную рюмку, никто к ней не притронулся.

Раевский сидел у костра с солдатами и рассказывал им интересные легенды из русской и греческой мифологии. После очередного рассказа Раевский на минуту задумался, но тут же к нему обратился пожилой солдат:

— Ваше благородие, в прошлый раз вы изволили рассказать нам об Митродите, нельзя ли еще вспомнить?

— Не Митродите, а Афродите, — поправил Раевский и в вольном изложении вторично рассказал миф об Афродите, только не упомянул об ее измене мужу. Это не ушло от любознательного солдата. Когда Раевский закончил свое повествование, тот же солдат снова спросил:

— Ваше благородие, а как же насчет измены, прошлый раз вы сказывали...

— Ну что ж, за измену она, как известно, была жестоко наказана. Ее законный супруг невидимо приковал Афродиту и ее обольстителя к тому ложу, на котором они встречались.

— Так ей и надо, изменнице, — одобрил солдат.

У многих, кто слушал Раевского, дома остались жены, поэтому он, смеясь, закончил словами:

— Напишите женам, что господь бог всегда наказывает за измену.

Когда едва загорелась утренняя звезда и взору открылось чистое небо, заговорили пушки.

С обеих сторон стрельба непрерывно усиливалась. Сонали и умирали раненые, их было очень много. И так продолжалось несколько часов.

23-я артиллерийская бригада входила в состав 4-го пехотного корпуса, которым командовал генерал Остерман-Толстой. Корпус в сражениях при Островно и

Витебске задержал неприятеля и выиграл время. А в день Бородинской битвы корпус сражался на Курганной высоте, а затем был переброшен к батарее генерала Раевского. Бригада, в которой служит Владимир Раевский, как правило, вела огонь с близких позиций, в упор поражала атакующие колонны неприятельской пехоты. Орудия Владимира Раевского стреляли прямой наводкой.

Уже тогда, когда, казалось, бой стихал, картечь задела плечо у Раевского, но он не оставил позицию, продолжал вести огонь по неприятелю.

Стойкость и находчивость Раевского, которыми он отличался в бою, не прошли незамеченными: он был награжден золотой шпагой с надписью: «За храбрость». В тот же день он отправил родным письмо, поспешил обрадовать их.

Когда письмо пришло в Хворостинку, Федосий Михайлович так расчувствовался, что приказал выдать всем работникам по рублю серебром, а старшая сестра Александровна Федосеевна то и дело вытирала слезы радости.

Вся слобода Хворостинка узнала о подвиге Владимира. Федосий Михайлович велел оседлать коня и, положив письмо сына, отправился в Курск. Ему не терпелось поделиться радостью с друзьями и чиновным людом.

На второй день после Бородинского сражения, на поле которого навечно осталось около ста тысяч воинов, Кутузов доносил императору Александру I: «Войска Вашего величества сражались с неимоверной храбростью. Батареи переходили из рук в руки, и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходящими силами... Когда дело идет не о славе выигранных только баталий, но вся цель будучи устремлена на истребление французской армии, я взял намерение отступить...»

Просторная кибитка главнокомандующего, в которой он, склонив набок голову и смежив глаза, дремал, увозила его от Бородина. Он пытался уснуть, но перед глазами вновь и вновь возникали образы погибших генералов и офицеров.

Позже он писал: «Чрезвычайная потеря, с нашей стороны сделанная, особливо тем, что переранены самые нужные генералы, принудило меня отступить по Московской дороге».

Оставив Москву Наполеону, Кутузов был уверен, что в ней Бонапартый найдет свою гибель, что она будет его последним торжеством. Однако из Петербурга последовал окрик императора: «Князь Михаил Илларионович! Со второго сентября Москва в руках неприятеля... На Вашей ответственности остается, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург. Вспомните, что Вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству в потере Москвы!» Кутузов не спешил с ответом. Он упорно приводил в исполнение свой давно задуманный план. Все дальше и дальше продвигалась армия по Рязанской дороге, оставив открытым путь на Петербург, о чем так сильно беспокоился император, затем незаметно перешла на Калужскую дорогу, оставив на Рязанской только арьергард.

Армия отступала. Это было непонятным для многих генералов и офицеров. Они не могли постичь кутузовской стратегии. Да что там генералы и офицеры, великий князь Константин Павлович, командуя гвардейским корпусом, не мог понять этого. И открыто об этом говорил. Однажды он ворвался в сарай, в котором работал оставшийся командовать 1-й армией Барклай, нагрубил ему за отступление армии и в знак протеста подал рапорт о переходе его корпуса в подчинение Багратиона. Спустя два часа разгневанный

великий князь возвратился в свой штаб и застал там предписание Барклая, согласно которому ему приказано сдать корпус генералу Лаврову, а самому немедленно выехать из армии. Отступление вскоре прекратилось, то на одном, то на другом участке фронта завязывались кровопролитные бои.

Война не ослепила Раевского. Он по-прежнему проявлял интерес к насущным вопросам жизни. Часто вспоминал своего друга Батенькова, с которым «остались друзьями и обещались сойтись, дабы... привести идеи... в действие». О его судьбе ничего долго не знал и только на подступах к Парижу ему стало известно, что бригада, в которой служит Батеньков, рядом. Загорелся желанием увидеть друга. И вскоре такой случай представился. Во время затишья между боями Раевский верхом на лошади прибыл на позиции 13-й бригады, в которой служил Батеньков. Остановив лошадь возле позиций одной из батарей бригады и увидев там офицера, спросил:

— Будьте любезны, укажите мне, где находится господин Батеньков Гавриил?

— Вы кто ему будете? — в свою очередь, спросил офицер.

— Я его друг.

— Вот как, — протянул офицер. По голосу офицера Раевский определил, что что-то случилось, насторожился. — К большому сожалению, ваш друг намерен погиб... — сказал офицер.

Потом он поведал, при каких обстоятельствах погиб Батеньков, но Раевский словно его не слышал, и только когда тот замолчал, спросил:

— Кто может мне показать его могилу?

— Никто, он мертвым попал в стан неприятеля...

Тяжело переживал Раевский гибель друга, но, как потом оказалось, Батеньков не погиб, а тяжело раненным попал в плен. Вот его слова: «Мы стреляли,

французы валились. Мы стреляли, а французы падали и приближались: французы были близко; товарищ, чтобы спасти пушку, отъезжал; у меня осталось только два канонира. Я сам приложил фитиль и от удара упал, меня проходящие французы кололи, но мне не было больно, когда же штык попал под чашечку колена, я потерял память».

Вместе с другими пленными Батеньков оказался на юге Франции в госпитале.

Вернувшись в полк, Раевский продолжал сражаться. Об этих днях войны он позже рассказал: «О собственных чувствах я скажу только одно: если я слышал вдали гул пушечных выстрелов, тогда я был не свой от нетерпения и так бы и перелетел туда... Полковник это знал, и потому, где нужно было послать отдельно офицера с орудиями, он посылал меня. Под Бородином я откомандирован был с двумя орудиями на «Горки». Под Вязьмой я действовал отдельно, после Вязьмы — 4 орудия на большую Московскую дорогу, по которой преследовали корпус Даву... Конечно, я получил за Бородино золотую шпагу с надписью «За храбрость» в чине прапорщика; Аннинскую — за Вязьму, чин подпоручика — за 22 сентября и поручика за авангардные дела... От Вязьмы началась гибель или мор несчастных, которых этот тиран завел в Россию, в Москву. Сражение при Малом Ярославце решило участь французов, и он пошел обратно по опустошенному и безлюдному пути... Направо и налево от дороги сидели и валялись кучи умирающих французов, поляков, итальянцев и даже испанцев... Наполеон, это чудовище, бич человечества, бросил армию, дорогою сказал несколько ласкательных слов легковверным полякам и ускакал в Париж. Там кончилась война. Эта страшная драма, где принесено в жертву для потехи зверских наклонностей и театральной славы одного чудовища более 500 тысяч невинных жертв!.. Я бы спросил, что

чувствовал Наполеон, когда после Бородинского сражения сорок тысяч трупов и раненых стонущих и изнемогающих людей густо покрывали поле, по которому он ехал? А сколько тысяч семейств оплакивали преждевременную потерю отцов, детей, братьев, мужей, любовников, опору семейств, и все эти несчастья от произвола, от жажды владычества одного. По расчету самому точному, три миллиона в продолжение его владычества было кон-скриптов, которые все погибли в войнах и походах. Почему человека, гражданина за убийство одного только такого же гражданина, женщину за убийство своего младенца наказывают смертью... а смертоубийство массами называют победою?.. Несправедливая война, и вообще война, если ее можно избежать договорами, уступками, должна рассматриваться судом народным, и виновников такой войны предавать суду и наказывать смертью...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КРУЖОК «ЖЕЛЕЗНЫЕ КОЛЬЦА»

Тайное общество декабристов дало толчок общественной инициативе, пробудило к жизни новое поколение борцов за свободу.

М. Лунин

После победы в Отечественной войне армия, как и вся страна, была предоставлена императором в распоряжение жестокого временщика генерала Аракчеева и его подручных, которые не церемонились с прогрессивно настроенными офицерами и солдатами. Их начали изгонять из армии. Необузданная муштра, жестокая палочная дисциплина тяжело давила на все передовое. Служба в армии становилась невыносимой. «Лучше в свете не родиться, чем в солдатах находиться», — ходила поговорка.

В 1815 году молодой поручик Раевский, служивший в составе русских войск за границей, вернулся, как он говорил, в «свои пределы» и получил назначение к новому месту службы. Ему очень хотелось заехать в имение отца и порадовать его, а также сестер своими наградами. Но маршрут, указанный в его подорожной, проходил вдали от родного дома, и нарушить его он не мог. Долг службы у него всегда превыше всего.

В низовье реки Смотрич, левого притока Днестра, в конце XI столетия возник город Каменец-Подольский, вошедший в состав Киевской Руси. В 1815 году в этом городе находилась главная квартира 7-го пехотного корпуса, туда адъютантом к начальнику артиллерии корпуса прибыл Владимир Раевский. Он в отличие от

своих новых коллег по службе быстро ознакомился с городом, изучил его историческое прошлое.

В один из воскресных дней в квартире Раевского собрались его новые друзья. Высокий, чуть сутуловатый адъютант командующего 7-м пехотным корпусом Приклонский, капитан квартирмейстерской части штаба корпуса Кисловский, штабс-капитан Тамбовского пехотного полка Губин, инспектор Подольской врачебной управы Доктор Диммер. Они уже не раз бывали в гостеприимной квартире Раевского. Вели оживленные беседы на различные темы, но чаще всего играли в карты. Карты были главным развлечением не только среди офицеров, за картами проводили время и знатные господа. Сегодня штабс-капитан Губин пришел последним, поздоровался с друзьями, положил на стол колоду новых игральных карт, весело сказал:

— Сегодня, господа, играем только на интерес. Карты принес совершенно новенькие...

— Нет-нет, — возразил Раевский. — Сегодня я предлагаю иной план. Давайте все вместе осмотрим наш необычный город, его достопримечательности. Вы даже не подозреваете, в каком замечательном городе мы служим.

— Напрасно потеряем время, кругом немые камни, — не сдавался Губин.

— Камни тоже могут рассказать о многом, если уметь их слушать, — не соглашался Раевский. — Да будет вам известно, господа, что город, в котором мы имеем честь находиться, в начале XV века был захвачен Польшей, превращен в крепость, а в XVII — Турцией, а потом снова отошел к Польше и только в 1793 году опять вошел в состав Руси. Разве это не интересно?

— Откуда у тебя такие познания? Я второй год здесь живу и впервые сие слышу.

Раевский заулыбался:

— Можно и сто лет прожить и ничего не знать, а не зная — не полюбишь. Я где-то недавно прочел умное изречение, что «любить отечество велит природа, бог, а знать его — вот честь, достоинство и долг».

Губин все еще был уверен, что игра состоится, и с удовольствием тасовал новую колоду карт, но Приклонский и Диммер поддержали Раевского.

Всегда задумчивый Кисловский сидел с книгой у окна и что-то читал, участия в разговоре не принимал. К нему подошел Диммер, взял из его рук книгу, спросил:

— А ваша светлость что предлагает?

Кисловский толком не знал, о чем идет речь, тем не менее заявил:

— Как вам ведомо, господа, я всегда и во всем согласен с Владимиром, он ведь у нас поэт. Вот, пожалуйста. — И тут же взял со столика лист бумаги, вслух прочитал:

*...О други, близок час желаний,
И близок час врагам.
Певцы передадут потомству
Наш подвиг, славу, торжество.
Устроим гибель вероломству,
Дух мести — наше божество!*

Раевский, глядя на Кисловского, удивленно спросил:

— Откуда у тебя сей лист?

— На верхней полке лежал, а что?

— А то, что стихотворение я еще не закончил, а ты его уже читаешь.

— Я не вижу в этом большого вреда. Ты обиделся?

— Нет, разумеется, мне было приятно услышать из твоих уст истину, — улыбаясь, ответил Раевский.

В комнате вдруг потемнело. Небо затянулось черными тучами. В окна застучали дождевые капли.

— Вот и прекрасно, — радостно произнес Губин. — Сама природа поддерживает мое предложение.

Приклонский сказал, что ливень скоро пройдет, и, заговорщически взглянув на Раевского, продолжил:

— Господа, карты от нас никуда не уйдут. Мне кажется, предложение Владимира куда более привлекательное занятие, а пока пройдет дождь и мы соберемся в поход, нам следует обсудить одно весьма важное предложение...

На этом Приклонский запнулся, он, видимо, не знал, с чего начать, ему на выручку пришел Раевский:

— Садись, Петр, а то ты сильно волнуешься, — предложил Раевский Приклонскому, а когда тот опустился в кресло, в оправдание друга сказал: — Петр волновался не зря. Речь сейчас пойдет об очень важном и необычном. Мы обсудили и выносим на ваше решение предложение о создании вольнолюбивого кружка.

— Это что-то новое, — заметил Губин.

— Да, новое. Дело в том, что, как вы знаете, за последнее время из армии ушло немало благородных офицеров, которые не могли выносить грубый и наглый тон начальства. Аракчеевщина дает свои плоды. Места достойных господ занимают манежные слугаки. А каково положение нижних чинов, принесших славу отечеству на полях сражений? По-прежнему ужасное. Они лишены каких-либо прав. Их избивают за самые ничтожные провинности. Делается все это у нас на глазах. Кто-то должен поднять голос против окружающей нас гнусной жизни. Деспотизм сам по себе не исчезнет, с ним надобно бороться, а для этого нам следует объединиться. Предлагаем создать вольнолюбивый кружок, который будет вести борьбу с деспотизмом всеми доступными методами.

Друзья внимательно слушали Раевского, пристально глядели на его умное, волевое лицо, как всегда, восхищались силой его убежденности.

— В созданный нами кружок будем принимать людей честных, ненавидящих деспотизм и желающих бороться против него! Никто не может сомневаться в праве на существование такой организации...

— Кроме монарха, — опять вступил в разговор Диммер.

— Милый доктор, я полагаю, что до монарха это дело не дойдет. А ежели и дойдет, то ничего противозаконного у нас не обнаружится.

— Владимир, ты ничего не сказал об названии кружка, — напомнил Приклонский.

— Да, да. Мы предлагаем именовать наш кружок «Железные кольца», — добавил Раевский и изучающе посмотрел на друзей. — О принадлежности к нашему кружку будет свидетельствовать железное кольцо, которое полагается носить на левой руке. Петр, покажи, пожалуйста, кольца, — попросил Раевский.

Приклонский открыл ящик стола, взял оттуда маленький бумажный сверток и, высыпав на стол дюжину железных колец, сказал:

— Подбирайте, ребята, сделаны по особому заказу. Кузнец, изготавливая их, сгорал от любопытства узнать, каково их назначение, но мы не удовлетворили его желания.

— Зря. Завтра об этом он донесет в полицию, — заметил Диммер.

— За кольца надо платить, Владимир? — спросил Губин и при этом отметил, что работа очень тонкая.

Возражений против создания кружка не было. Раевский пообещал в ближайшее время разработать устав кружка и вынести его на обсуждение.

На улице прояснилось. Дождь затих. Кто-то внес предложение, что создание кружка следовало бы отметить.

— Это ни к чему, — возразил Раевский, — сейчас, господа, идем в крепость над Бугом. Обещаю, что о том

никто не пожалеет. Я буду вашим гидом...

По дороге в крепость Раевский вслух читал свое новое стихотворение:

*Что нужды мне до царственных венцов
И до побед, в честь коих раздаются
Гром пушек, шумный звон колоколов
И гимны благодарственны поются...*

Идея создания патриотического кружка «Железные кольца» принадлежала Раевскому, но он повел дело так, как будто она общая. В душе он радовался, что приближается осуществление мечты, которая родилась еще во время обучения в Дворянском полку, во время «патриотических мечтаний» со своим другом Батеньковым. Раевский понимал, что до большого, настоящего дела еще далеко, но начало сделано. Именно тогда Раевский написал несколько писем Батенькову. В стихе, обращенном к другу юности, он спрашивал:

*Ужель свинцовый час
Покрыл прошедшее невозвратимой тьмою,
Ужель он заглушил влеченья тайный глас,
Который юношей нас съединил с тобою?
Но прочь сомнение, ты тот же должен быть!
Те ж чувства, чуждые и низости и лести,
И ум возвышенный, способный отличить
Талант от глупости, дым суеты от чести...*

Уже потом, спустя годы, Батеньков вспомнит об этих письмах Раевского: «...сверх чаяния, получил я три или четыре письма от Раевского, он казался мне как бы

действующим лицом в деле освобождения России и приглашал меня на сие поприще».

И хотя друзья договорились, что о своем кружке особо распространяться не будут, но, как утверждает народная поговорка, если о чем-то знают двое — это уже не секрет. Так случилось и гут. Уже через неделю во всем корпусе говорили о таинственном кружке, который якобы изготавливает железные кольца, способные оберегать их владельцев от многих болезней.

Слух о волшебных способностях железных колец с невероятной быстротой распространился по всему городу. Жены начальников первыми пожелали приобрести чудо-кольца.

Начальник артиллерии корпуса, увидев на руке Раевского железное кольцо, не стал расспрашивать о предназначении его, а спросил только, где он его приобрел. Во всяком случае, кузнец, изготовивший первую партию колец для кружка, теперь уже знал об их колдовской силе, не успевал выполнять многочисленные заказы на них. Особенно осаждали его полковые дамы. Уже через месяц цена на железные кольца невероятно возросла.

Все, кто приезжал в те дни в Каменец-Подольский, считали большой удачей, если им удавалось увезти с собой необыкновенный сувенир.

На очередном заседании кружка Раевский рассказал о возникшем шуме вокруг железных колец, ребята от души хохотали.

— Если судить о принадлежности к нашему кружку по наличию железного кольца на руке, — сказал Раевский, — то уже почти все корпусные дамы принадлежат к нему.

Первым результатом деятельности кружка было то, что удалось прекратить издевательства над нижними чинами в роте поручика Зверева. Дело обстояло так.

Раевский вместе с Кисловским в воскресный день повстречали на улице двух пожилых солдат, которые, как потом выяснилось, шли к ротному копать огород. Солдат расспросили, часто ли они работают на ротного и как тот ведет с ними расчет за работу.

— Кулаком в морду, и весь расчет, — грустно произнес один из них.

Узнав, что солдат воевал под Бородином и награжден медалью, Раевский обнял его. Солдат прослезился, доверительно сказал:

— За мою службу, верную отечеству, намедни ротный мне два зуба выбил... Некому жаловаться: до бога высоко, а до царя далеко...

Встал вопрос: как обуздать ротного? Это дело взял на себя доктор Диммер, который был знаком с ротным. Диммер не только припугнул Зверева, сказав, что о его «похождениях» знает командир корпуса, но и сумел убедить поручика в его безнравственных поступках по отношению к нижним чинам. Диммер познакомил Зверева с Приклонским, а тот некоторое время спустя нашел возможным даже рекомендовать его в состав кружка.

Казалось, что кружок набирает силу, в него было принято несколько молодых офицеров, заканчивалась разработка проекта устава, но случилось непредвиденное: Приклонский и Диммер получили назначение к новому месту службы, а Раевский, убедившись, что «требовалась не служба благородная, а холопская подчиненность, вышел в отставку за ранами».

Больно было расставаться с друзьями по корпусу, и Раевский поклялся вечно помнить эту дружбу.

*...Исчезни, пламень мой,
Когда я вас забуду,
Свободные друзья!*

*Вот вам рука моя,
Что свято помнить буду
Союз сердец святой.
Скорее луч денницы
В преддверии гробницы
Угаснет надо мной!..*

По пути домой Раевский, остановившись у костра, достал из сумки тетрадь, на обложке которой было написано «Проект устава вольнолюбивого кружка «Железные кольца», и бросил его в костер. А потом взял в руки свой формуляр, прочитал, что «по службе и в хозяйстве хорош, способности ума имеет хорошие, пьянству и игре не предан, знает немецкий и французский языки, математику и другие науки». Через минуту и формуляр полетел в костер, а про себя Раевский молвил: «Теперь все это никому не нужно; у отца на меня имеется свой формуляр...»

С отъездом из Каменец-Подольского главных организаторов кружок прекратил свое существование...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«ДЛЯ ПОЛЬЗЫ БЛИЖНЕГО ЖИТЬ — СЛАДКАЯ МЕЧТА...»

*Я в море суеты блуждаю,
Стремлюсь вперед, ищу пути
В надежде пристань обрести
И снова в море уплываю.*

Раевский — Батенькову

Молодой, образованный, прошедший через все испытания войны, Раевский ушел из армии. Нелегко было ему сделать этот шаг, но он все-таки сделал.

Из-за границы Раевский, как и многие другие офицеры, возвратился на родину с надеждой, что простому народу будет дано облегчение. «Сотни тысяч русских своею смертью искупили свободу целой Европы, — писал он. — Армия, избалованная победами и славой, вместо обещанных наград и льгот подчинилась неслыханному угнетению. Военные поселения, начальники, такие, как Вит, Шварц, Желтухин и десятки других, забивали солдат под палками; крепостной гнет крестьян продолжался, боевых офицеров вытесняли из службы... Усиленное взыскание недоимок, увеличившихся войной, строгость цензуры, новые наборы рекрут и проч. проч. — производили глухой ропот... Власть Аракчеева, ссылка Сперанского, неуважение знаменитых генералов и таких сановников, как Мордвинов, Трощинский, сильно встревожили, взволновали людей, которые ожидали обновления, исцеления тяжелых ран своего отечества...» Передовые офицеры начали открыто и решительно говорить о творимых безобразиях.

Отец Раевского владел винокуренным заводом в Курской губернии. Когда он узнал, что Владимир уходит в отставку, он надеялся передать управление заводом сыну, в лице которого Федосий Михайлович видел самого достойного наследника, способного сохранить и увеличить родовое состояние. Старшая сестра Владимира, Александра Федосеевна, всегда была за то, чтобы брат оставил военную службу, и теперь радовалась его приезду, тайно готовила ему невесту.

В первый день возвращения Владимира в отчий дом между ним и отцом состоялся откровенный разговор.

— Владимир, ты окончательно решил оставить военную службу? — спросил отец. — Или, может, отдохнешь немного, съездишь на воды и воротишься в армию? Я похлопочу тебе место поближе к дому...

— Нет, отец, сейчас не надо ничего предпринимать, как говорят, поживем — увидим. А вы как думаете?

— Если тебя интересует мое мнение, то я тебе скажу, что мне желательно всегда видеть тебя здесь, но для меня, Владимир, служба в армии считается всегда самой почетной.

— Теперь, отец, армию захватила аракчеевщина, словно зараза. Надеюсь, вы слышали, что творится в военных поселениях?

— Слышать слыхал, но у меня мало веры тому.

— Мало, говорите. Вот сейчас я вам представлю одно из доказательств, прислал мне его мой друг, да вы его знаете, Гавриил Батеньков, тот, который заезжал сюда, да не застал меня дома.

Порывшись в сумке, Владимир извлек оттуда лист, подал отцу.

— Полюбопытствуйте, это список из одного повеления Аракчеева.

«У меня всякая баба, — читал вслух Федосий Михайлович, — должна каждый год рожать, и лучше сына, чем дочь. Если у кого родится дочь, то буду

взыскивать штраф. Если родится мертвый ребенок или выкинет баба — тоже штраф. А в каждый год не родит, то представлять десять аршин точива^[1]».

— Неужели правда? — удивился отец.

— Ни малейшего сомнения нет, есть вещи еще и похуже...

Затем Владимир побывал в губернском городе, повидался со знакомыми, осмотрел имение отца, но уже через неделю начал скучать по друзьям. Единственное, в чем он мог излить свои чувства, были стихотворения.

Мой друг! Взгляни кругом на наш подлунный свет:

От трона царского до хижины убогой —

Везде увидишь след богини быстроногой,

Но постоянного для ней приюта нет.

Чем выше здание — тем ближе к разрушенью,

Опасный скользкий путь титулов и честен,

Опасны милости и дружество царей —

Кто ближе к скипетру, тот ближе к ниспаденью!

Как часто видим мы невежду и глупца

С титулом княжеским, в заслугах, уваженья.

.....

Лишь независимость есть мудрого черта;

Под игом деспота-тирана — он свободен...

Для пользы ближнего жить — сладкая мечта!..

Вдали от друзей и от привычной военной жизни Раевский оказался на распутье, «в море суеты блуждая», он все чаще и чаще задумывался о смысле жизни. Охватившее его упадническое состояние дало толчок к написанию литературной сюиты «Ночь».

«Близко полуночи!.. Ничто не прерывает молчания и размышлений моих, один, окруженный сном и безмолвием, я обращаю мысль мою к протекшему... На

крыльях мечты я переносюсь в то счастливое время, когда я обладал счастливой беспечностью!.. Кровавый источник лился передо мной; в слепоте моей я видел одну славу, а зов трубы военной заглушал глас совести, чувства и рассудка. Ценою счастья, здоровья и свободы я заплатил за неопыт мой... Природа или случай, сотворя человека, наложили на рассудок и мысли тяжелый спуд, под коим тяготится и не может восстать сила и дерзновенные замыслы, постигнуть истину и начало!.. Для меня исчезли наслаждения, но я радуюсь будущим, когда свет лучезарный и непостижимый оку осветит взор моего заблуждения. Я радуюсь с приближением той минуты, когда я поравняюсь с царем, вельможею и несчастным рабом...»

В «Часе меланхолии» есть такие строки:

*...Стремлюсь я к вечному покою,
Хочу под гробовой доскою,
Что есть бессмертие, узнать.
Почто мне в цвете дней моих
Страдать назначено судьбою?
Надежда, я забыт тобою,
Не вижу радостей твоих.*

Необыкновенно энергичный, вечно стремившийся к чему-то новому, неизвестному, какое-то время Раевский не может найти себе места. Но это продолжалось недолго. В «Послании к другу он рисует себя ироническими красками:

*Как отшельник, вдалеке
От сует, затей и славы,
Сделавшись беглец забавы
В красном старом колпаке,*

Я доволен сам собой!

В те дни, пока Владимир жил в доме отца, Федосий Михайлович купил кучера и башмачника у соседнего помещика.

— Совсем недорого, — похвастался отец.

Владимир покраснел, грозно посмотрел на отца.

— Вы, отец, совершили преступление, — резко сказал он.

— Какое? Всю жизнь работников продают и покупают.

— Только у нас в России творится сие варварство, отец. Пора этому положить конец. Человек — это не вещь, не лошадь или пес. Это ужасно!

— Ко мне, Владимир, люди охотно идут, я их не обижаю. Ты сам это знаешь. А вот наш сосед помещик Тюфер Макёра заковывает своих провинившихся крестьян, и они так и работают в железках...

— Казнить его надобно за такое. Без суда и следствия казнить!

Владимир так разволновался, что говорить был не в силах. Отец что-то толковал о существующих порядках и обычаях, но сын, казалось, не слышал слов отца, а потом примирительным тоном объяснил:

— Фабрики и заведения наши, приводимые в действия рабами, никогда не принесут такой выгоды, как вольными, ибо там — воля, а здесь — принуждение; там договор и плата, здесь — необходимость; там — собственный расчет выгоды и старание, здесь — страх наказания только. Безмолвное повиновение ожесточает, не приводит к другому способу пропитать и удовлетворять нужды свои, как через грабеж и воровство; отсюда проистекает начало уголовных преступлений...

Федосий Михайлович внимательно выслушал сына, а потом сказал:

— Я вижу, Владимир, учение тебе во вред пошло. Ни от кого из твоих братьев и сестер я ничего подобного не слышал. С отцом, конечно, ты можешь говорить, но упаси тебя бог где-либо на людях... Сразу донесут.

— Ты прав, отец, аракчеевщина свирепствует везде. Когда я был в Курске, то там мне знакомый поэт рассказывал, что и цензура начала сильно свирепствовать. Некогого цензора Красовского называют даже цензурным террористом. Он не только не разрешает в недели поста помещать стихотворения, воспевающие любовь, но убивает любую живую, яркую строку. Сказывают, что против Строк «улыбку уст твоих небесных ловить...» он написал, что «женщина недостойна того, чтобы ее улыбку называть небесной...».

Цензурный гнет испытывал и Пушкин. В одном из писем Александру Бестужеву он писал: «Кланяйся от меня цензуре, старинной моей приятельнице, кажется, голубушка не поумнела».

В имении отца Владимир прожил больше года. И все это время отец настаивал, чтобы сын вернулся в армию, где, по его, отцовскому предположению, сына ждет большая военная карьера. Владимир не говорил ни да, ни нет. Принять окончательное решение помог случай. К отцу приехал в гости его бывший командир, генерал от кавалерии Воинов, который после долгой беседы с Владимиром сумел уговорить его подать рапорт о зачислении в кавалерию, пообещал взять своим адъютантом. Вскоре Раевский двинулся навстречу своей судьбе.

В последний день перед отъездом в армию Владимир обошел имение отца. Какое-то чувство ему подсказывало, что он больше сюда не вернется; правда, об этом он никому не говорил, уединился в своем

любимом месте у ручейка Орлик, там и родились слова прощания:

*Прости ж, ручей родной, прохладные
дубравы, —
Быть может, навсегда я покидаю вас.
Я не раб — свободен от желаний славы,
Мне дорог радости и мира каждый час.
В роскошных ли садах смеющейся Тавриды,
В стране ли хладной остяков,
Или в развалинах Эллады —
Найду гостеприимный кров!*

Полгода Раевский прослужил в 32-м егерском полку в местечке Линцы Лпповецкого уезда Киевской губернии, а осенью 1818 года был переведен в Малороссийский кирасирский полк, в город Старый Оскол, недалеко от родового имения Раевских — Хворостинки. Владимир получил новое предписание с надеждой, что он будет адъютантом генерала Воинова, но надежда не сбылась. Свое обещание генерал Воинов не выполнил, о чем Раевский написал в письме Приклонскому: «Воинов хороший наездник, но самый нерешительный генерал. Он хотел меня взять в адъютанты и не сказал ничего верного, когда я явился... «Со временем», «Мы постараемся» были его ответы. Завтра подам просьбу и на 3-4 месяца, а между тем рапортуюсь больным, я буду жить дома... После возвращения с Кавказа решу участь мою — или перейду опять к вам, или подам в отставку, а здесь мне служить не хочется...»

Вскоре Владимир Раевский возвратился в 32-й егерский полк. Снова начались привычные занятия с нижними чинами, а в свободное время он по-прежнему много читал и продолжал писать стихи. Вдохновляла

его любимая девушка Гаша, которая осталась на родине.

Первую свою любовь Владимир помнил всю жизнь. В одном из писем к Гаше он писал:

«...Где ты и что с тобою? Я не знаю, но мрачные предчувствия или тихое удовольствие (если можно назвать успокоение души) дают мне сочувствовать и знать твое состояние, перемены, тебе определенные. Самое сновидение, сия таинственная связь или показатель бессмертия живо означают мне твои слезы или твой покой. Так, суеверие есть необходимость чувственной любви, основанной на взаимности! Прочь, признак одной мечтательной совершенности и нравственности! Сила сладострастия пробуждает нравственные наслаждения: свидания, приветливость, уверенность в любви, взаимность, надежда, ревность, мечтательное совершенство моего предмета, суть разнообразные свойства, волнующие душу, — и, следовательно, живущие в сфере идеального, неразлучно с чувствами! Единообразная картина здешней страны еще более усиливает во мне желание скорее обнять тебя, милая Гаша».

В те дни он написал стихотворение «К моей спящей».

*Ты спишь... и сладостен покой
Любови нежной,
Сон сладкий, безмятежный
Не прерывается печальной мечтой!
И локоны, клубясь по теменам волной,
От смелых взоров грудь стыдливую скрывают...*

Еще во время переезда к новому месту службы Раевский заехал в Тудьчин. Там он встретил многих своих старых знакомых, в их числе и генерала

Фонвизина, от которого узнал о существовании Союза благоденствия, Владимир сразу же загорелся желанием вступить в общество.

«Зеленую книгу» (Устав союза), — вспоминал Раевский, — предварительно дал мне прочитать генерал-майор Михаил Александрович Фонвизин».

После прочтения Раевский дал расписку, что: «Прочитавши устав Союза общественного благоденствия и не найдя в нем ничего противного данной мною присяге, согласен быть членом, я обязываюсь хранить в тайне о существовании общества и вносить в оное двадцатую часть моих доходов».

Окрыленный знакомствами с Пестелем, Баратынским, Басаргиным, Юшневским и другими прогрессивно настроенными офицерами, Раевский мечтает об активной деятельности «в деле освобождения России», Сбывается его мечта, о которой так часто говорил он со своим другом Гавриилом Батеньковым еще во время учебы в кадетском корпусе.

Раевскому повезло: командиром 32-го полка был полковник Непенин, член Союза благоденствия, с которым они быстро подружились.

Поселился Раевский в одной квартире с капитаном Охотниковым. Охотников был адъютантом Орлова, управлял дивизионной школой: в январе 1821 года он ездил в Москву на съезд Союза благоденствия.

Однажды Охотников почувствовал недомогание и возвратился на квартиру. На письменном столе он увидел тетрадь Раевского, раскрыл ее и прочитал: «Наставление солдатам 9-й роты». Охотников внимательно изучил его, а затем взял лист бумаги и все пункты переписал в свою тетрадь:

«1. Располагаясь по домам, всю амуницию привести в надлежащую чистоту, поместить в отличном порядке и даже красиво...

2. С хозяевами обращаться дружелюбно, но не по-братски...

3. Унтер-офицерам и ефрейторам смотреть за чистотою или чистоплотностью солдат... Белье переменять в неделю два раза, или уже непременно один раз, в баню ходить всякую пятницу или субботу... За неопрятность же солдат строго взыскивать буду с унтер-офицеров и ефрейторов.

4. Всем молодым солдатам заниматься изучением грамоты прилежно, ибо я решился не представлять тех в унтер-офицеры, которые не будут знать читать и писать...

5. Буде солдат почувствует себя больным, то, не дожидаясь, по обыкновению, пока пройдет, — тотчас отправлять на ротный двор для отправки в лазарет...

6. Вразумлять солдату его обязанность, чтобы он знал своих начальников, сроки своей амуниции... и исполнять приказания не из-под палок, но по долгу и с охотой.

7. За воровство и грубость... я не буду сам наказывать, но представлять буду для отдачи под военный суд.

8. Впрочем, я уверен в благонравии моих солдат и любви их ко мне и напоминаю это только тем, которые не хотят понимать чести и доброго моего обхождения, ибо вся цель моя и желания суть, чтобы солдат был доволен, весел и молодец, словом, — как должен быть солдат русский».

Отличительные способности Раевского были замечены, и вскоре он получил более высокий пост. В предписании от 3 августа 1821 года было указано:

«32-го егерского полка господину майору и кавалеру Раевскому.

Предлагаю Вашему высокоблагородию принять от капитана Охотникова в ведение Ваши учебные заведения для юнкеров командуемой мною дивизии

равно и школу по способу взаимного обучения учрежденную.

Командир 16-й пехотной дивизии
Генерал-майор Орлов 1-й».

Первым называли в армии Михаила Орлова, ибо у него был брат Алексей, тоже генерал.

Раевский обрадовался такому назначению. Сначала он стал работать над новой программой для школ, поскольку прежнюю считал порочной. Орлов оказал ему большую поддержку в этом.

Для обучения и воспитания своих подопечных Раевский не жалеет времени. Рано утром и поздно вечером он был вместе с ними. В те дни он записал в своей тетради: «Кто действует и живет с тем, чтобы передать имя своему потомству, тот просто честолюбец; добродетельный человек ищет пользы человечества в настоящем и будущем, не заботясь о своем имени».

Сравнительно за короткий срок Раевский сделал конспекты уроков по географии, по курсу российской истории, по государственному праву; «о политике», религии, а также составил рукописные прописи учащимся, в которых были и такие пункты:

«Не наслаждайся удовольствиями, кои стоят слез твоему ближнему.

Умеряй телесные твои упражнения и просвещай свой разум.

Добродетельные люди всеми бывают любимы и уважаемы.

Героев могли произвести счастье и отважность, а иногда и храбрость.

Что можно сделать сегодня, то не отлагай на завтра.

Мудрость драгоценнее золота, потому что она реже и полезнее.

Не будь к бедным жестокосердным. Когда имеешь много, то уделяй им щедрою рукою; когда же мало, то давай из малого, и притом от чистого сердца и охотою.

Ищи всегда совета у добрых и благородных людей.

Излишние желания производят одну суетность и беспокойство и даже рождают пороки в человеке».

В конспекте Раевского по географии записано:

«...Правления разделяют: как самовластные и деспотические, где один человек, именуемый государем, или императором, или королем, управляет пародом по установлениям и законам; республиканские, где народ сам себе выбирает начальников и сам для себя делает законы...»

А в конспекте по курсу российской истории не забыл напомнить о существовании древнерусских республик, о «гордых» и «независимых» новгородцах, о «правах вольности». Рассказывал всегда с воодушевлением, особенно когда речь шла о вечевом строе, когда «звуки колокола приглашали народ на площадь» для решения важных государственных дел.

Рассказывая о прошлом, он находил примеры борьбы вольности с тиранией. На занятиях по русской словесности он всегда советовал читать стихи Рыльева, Гнедича, особенно его стихотворение «Перуанец к испанцу», а по русской истории рассказывал о подвигах и славных делах Суворова, Румянцева, Кутузова.

В то время Раевский получил медаль «В память 1812 года» и грамоту, в которой отмечалось:

«Дворянину Курской губернии господину майору Владимиру Федосеевичу Раевскому.

При благополучном, и с помощью всевышнего, окончании войны с французами благоугодно было его императорскому величеству, всемилостивейшему государю нашему между многими милостями, дарованными всем вообще верным его подданным, отличить российское благородное дворянство

особенным знаком высокомоушаршего своего благоволения и признательности, которые изъяснены в манифесте от 30 августа 1814 года... Ныне сии бронзовые медали доставлены ко мне для украшения ими дворянства Курской губернии, почему я. исполняя предписание правительствующего Сената, препровождаю при сем одну такую медаль к Вашему высокоблагородию для ношения на Владимирской ленте в петлице...

Курской губернии предводитель дворянства».

Прочитав грамоту, Раевский вспомнил Бородинский бой, пожар Москвы, взятие Парижа. Вновь промелькнули лица здравствующих и давно ушедших из жизни друзей, многих генералов, офицеров и солдат.

«Как стойко и дружно мы сражались, — подумал Владимир Федосеевпч. — Солдаты понимали офицеров, крестьяне — помещиков, все тогда как бы объединились в один мощный кулак, забыв на время распри и несправедливость. Нам думалось тогда, что так, в мире и согласии, мы будем жить всегда. И что же получилось?»

В 1816 году в военные поселения начали обращать все коренное население многих губерний. Естественно, началось сопротивление крестьян. На подавление волнений направлялись даже полки солдат с артиллерией. По восставшим стреляли, их рубили, многих прогоняли сквозь строй.

Особенно упорно сопротивлялось украинское казачество. Когда генерал-майор Витт приступил к устройству военных поселений в Херсонской губернии, то восстали все станицы. Выступали даже женщины и дети. На подавление было брошено два полка; главные зачинщики были преданы суду, из них 74 человека приговорены к смертной казни.

«Император Александр, в Европе покоритель и почти корифей либералов, в России был не только жестоким, но, что хуже того, — бессмысленным деспотом». Так писал о нем декабрист Якушкин.

Частые восстания все же заставили правительство задуматься о положении крестьян. Стали появляться различные предположения об их освобождении. Но тут же появлялись возражения. В 1818 году калужский губернский предводитель дворянства князь Вяземский, а за ним и харьковский помещик Каразин пустили по рукам записки с резкими возражениями против освобождения крестьян. Будущий декабрист Александр Николаевич Муравьев выступил с осуждением Вяземского и Каразина. Список своего сочинения Муравьев через князя Волконского представил государю. Его величество прочел записку и на ней написал: «Дурак! Не в свое дело вмешался!»

Были и другие защитники рабства. В 1820 году Раевскому случайно попала книга графа Растопчина — реакционера и крепостника. Владимир Федосеевич решил написать ответ на эту книгу. Когда ответ был готов, хотелось с кем-то поделиться, и он дал почитать его своему другу капитану Охотникову.

— Вот, почитай, пожалуйста, но упаси бог потерять. Меня по почерку обнаружат — и тогда добра не жди, — сказал Раевский, провожая Охотникова в командировку.

Вечером на квартире Охотников раскрыл бумаги и стал читать:

«...Кто дал человеку право называть другого человека моим и собственным? По какому праву тело, и имущество, и даже душа одного может принадлежать другому? Откуда взят закон торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить подобных себе человеков? Не из источника ли грубого неистового невежества, злодейского эгоизма, скотских страстей и бесчеловечья?»

В этом месте Охотников прервал чтение. Курил, несколько минут обдумывал прочитанное, и опять восхищался силой логики Раевского, беспощадно бичующего существующий порядок.

«Взирая на помещика русского, я всегда воображаю, что он вспоен слезами и кровавым потом своих подданных, что атмосфера, которой он дышит, составлена из вздохов сих несчастных; что элемент его есть корысть и бесчувствие... Предки наши, свободные предки, с ужасом взглянули бы на презрительное состояние своих потомков. Они в трепетном изумлении не дерзнули бы верить, что русские сделались рабами, и мы, чье имя и власть от неприступного Северного полюса до берегов Дуная, от моря Балтийского до Каспийского дает бесчисленным племенам и народам законы и права, мы, внутри нашего величия, не видим своего унижения в рабстве народном... Досадно и смешно слышать весьма частые повторения, что народу русскому дать свободу и права, ограждающие безопасность каждого, — рано, как будто бы делать добро и творить суд может быть рано... Дворянство русское, погрязшее в роскоши, разврате, бездействии и самовластии, не требует перемен, ибо с ужасом смотрит на необходимость потерять тираническое владычество над несчастными поселениями. Граждане, тут не слабые меры нужны, но решительность и внезапный удар...»

Последнее предложение написано большими буквами и подчеркнуто. Охотникова прошиб пот, и он опять откладывал чтение, шагал по комнате, часто повторял слова «решительность и внезапный удар...». «Наш союз должен подготовить этот удар, — думал Охотников. — Такие его руководители, как Пестель и Орлов, наверняка подготовят удар этот...»

К Охотникову зашел кто-то из офицеров, предложил сыграть в карты. Сославшись на головную боль,

Охотников от карт отказался, а когда офицер ушел, он поспешил дочитать: «Продажа детей от отцов, отцов от детей и продажа вообще людей — есть дело, не требующее никаких доказательств своего ужасного и гнусного начала... Фабрики и заведения наши, приводимые в действие рабами, никогда не принесут таковой выгоды, как вольными... Безвременная и усиленная работа, отягощая все физические силы человека, изнуряет его преждевременно и открывает путь к ранней смерти...»

После возвращения Охотников первым делом отдал Раевскому «Рассуждение» и, обнимая, сказал:

— Владимир, я только сейчас уразумел, что ты не только поэт. Ты и дальше будешь работать над «Рассуждениями»... — Охотников не закончил фразу, в комнату вошла хозяйка и позвала к столу.

После ужина друзья продолжили разговор.

— Несколько лет назад я написал «Сатиру на нравы», ты, случайно, не можешь мне порекомендовать издателя? — шутя спросил Раевский и прочитал:

*...И наши знатные — Отечества столпы —
О марсовых делах с восторгом рассуждают...
С утра до вечера за картами зевают,
А жены их, смеясь, в боскетах нежны лбы
Иноплемянными рогами украшают...*

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Я БЫЛ ДРУЖЕН С МАЙОРОМ РАЕВСКИМ...»

*Все тот же я — как был и прежде!
С поклоном не хожу к невежде...
Молебнов лести не пою...*

Пушкин — Гнедичу

Шестого мая 1820 года молодой чиновник Коллегии иностранных дел Александр Пушкин, сопровождаемый крепостным дядькой Никитой Козловым, оставил пределы Петербурга. На окраине города Пушкин остановил коляску, торопливо обнял и поцеловал провожавшего своего лицейского друга Дельвига, повернулся лицом к «Петра творенью», тоскливо поглядел на утопающие в дымке золоченые купола церквей. Затем вскочил в коляску, бросил «трогай», сам запрокинул голову, задумался. Он хорошо понимал, что перемещение его к новому месту службы есть не что иное, как замаскированная ссылка, что он стал «жертвой клеветы и мстительных невежд». Но не это волновало его в данную минуту. На душе было тягостно от расставания с Дельвигом. «Никто на свете не был мне ближе Дельвига», — скажет потом о нем Пушкин.

Проехав пару верст, Пушкин вспомнил о полученной накануне подорожной за № 2295, развернул ее и стал читать: «Показатель сего, Ведомства Государственной Коллегии иностранных дел Коллежский секретарь Александр Пушкин отправлен по надобности службы к Главному попечителю Колонистов Южного края России г. генерал-лейтенанту Инзову; почему для свободного

проезда сей пашпорт из оной Коллегии дан ему в Санкт-Петербурге мая 5 дня 1820 года».

По прибытии в Кишинев Пушкин первым делом решил посетить генерала Орлова, с которым он был в приятельских отношениях. Потом, когда Орлов женился на дочери Николая Николаевича Раевского Екатерине, Пушкин стал их частым гостем.

Однажды Орлов, приглашая Раевского к себе на обед, загадочно сказал:

— Сегодня я вас. Владимир Федосеевич, познакомлю с очень интересным человеком.

В тот вечер Раевский пришел в дом Орлова, Пушкин уже был там и в бильярдной развлекался с Липранди. Хозяин познакомил его с Раевским. Пушкин радостно воскликнул:

— Мне на Раевских везет. Я знаю почтенного Николая Николаевича, обоих его сыновей, их мать и дочерей... Вы их родственник?

— Очень далеко, — ответил Раевский.

С тех пор и до самого ареста они постоянно встречались на квартире Орлова или Липранди. По свидетельству подполковника Липранди, Пушкин частенько бывал в его доме, где «не было карт и танцев, а шла... очень шумная беседа, спор, и всегда о чем-либо дельном, в особенности у Пушкина с Раевским, и этот последний, по моему мнению, очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительно историей... Пушкин как вспыльчив ни был, но часто выслушивал от Раевского... довольно резкие выражения — и далеко не обижался, а, напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского».

Раевский не только советовал Пушкину заниматься историей, но и сам, куда бы его ни забрасывала судьба, постоянно изучал отечественную историю и историю городов. в которых приходилось служить.

О Молдавии Раевский сделал такую заметку: «... Природные жители молдаване все без изъятия свободны и пользуются почти теми же правами, какими пользовались некогда поселяне русские, но цыгане составляют класс рабов на том основании, на каком находятся ныне наши городские крестьяне. С тем различием, что цыгане продаются гораздо дешевле, так что целое семейство можно купить от 200 до 100 левов и менее. Торгующий класс суть: русские, армяне, греки, немцы и жида, но сии последние не имеют той силы, какую имеют они вообще в завоеванных нами провинциях, где нищета крестьян, самовластие, неспособность и нерадение дали способ жидам овладеть отраслями торговли».

В те годы земля Молдавии представляла собою безлесную степь — от самого Аккермана до Кими, от Кишинева до Бакермана не было ни одного дерева. Местные жители, в основном беглые из России, вели кочевую жизнь; они не разводили садов. Плодородная земля обрабатывалась плохо, и все же ежегодно собирали неплохой урожай пшеницы арнаутки и отправляли в Одессу и Константинополь.

Составляя описание жизни крестьян Молдавии, Раевский продолжал работать над трактатом «О рабстве»...

Присмотревшись к жизни людей в Молдавии, Раевский пришел к заключению, что и там, как везде, «искажены правила жизни».

«Нет, счастье человека не зависит в исполнении желаний его, ибо желания суть столь многообразные, что исполнение одного влечет сожаление о неисполнении другого! И в этих пустынях, где развратное человечество образовало новые жилища, искаженные правила жизни и веры, и здесь человек все то же создание, та же смесь добра, своеволия, рабства и пороков!..»

Весной 1821 года на вечере в квартире Липранди Раевский предложил переложить «Песнь о Мальбруке», направив ее против «палочных командиров». Пушкин поддержал Раевского и сам принял участие в этой шутке, как и другие лица, присутствующие на вечере. Шутка быстро распространилась в списках. В конечном итоге за нее поплатился один Раевский. В обвинительном акте суда она упоминалась как пример вольнодумства.

Из показаний юнкеров видно, что Раевский в преподавании литературы обильно насыщал изложение примерами, которые выполняли одновременно и пропагандистские функции.

Редкий субботний вечер у генерала Орлова не было гостей. Гостеприимные хозяева всегда были рады им. Постоянными гостями были майор Раевский. Александр Пушкин, подполковник Липранди. Засиживались до поздней ночи, беседовали, а чаще спорили. Время пролетало быстро. Главными спорщиками были Раевский и Пушкин.

«Спорили всегда о чем-либо дельном, — вспоминал много лет спустя Липранди. — Помню очень хорошо спор между Пушкиным и В. Ф. Раевским (так между ними другого и быть не могло) по поводу: «Режь меня, Жги меня»; но не могу положительно сказать, кто из них утверждал, что «жги» принадлежит русской песне, и что вместо «режь» слово «говори» имеет в «пытке» то же значение, и что спор этот порешил отставной фейерверкер Ларин, обыкновенно живший у меня. Не понимая, в чем дело... потянул песню «Ой, жги, говори, рукавички барановые!». Эти последние слова превратили спор в хохот... Пушкин и Раевский сыпали остроумием в своих беседах...»

О характере споров рассказывает Раевский в незаконченном отрывке «Вечер в Кишиневе», в котором

речь идет о лицейском стихотворении Пушкина «Наполеон на Эльбе».

«...Е. Послушай стихи. Они в духе твоего фаворита Шиллера.

Майор. Ну, что за стихи?

Е. «Наполеон на Эльбе».

Майор. Если об Наполеоне, то и в стихах слушать буду от нечего делать.

Е. *(начинает читать)*.

*Вечерняя заря в пучине догорала.
Над мрачной Эльбою носилась тишина.
Сквозь тучи бледные тихонько пробегала
Туманная луна...*

Майор. Не бледная ли луна сквозь тучи или туман?

Е. Это новый оборот! У тебя нет вкуса (слушай):

*Уже на западе седой, одетой мглою,
С равниной синих вод сливался небосклон.
Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон!*

Майор. Не ослушался ли я, повтори.

Е. *(повторяет)*.

Майор. Ну, любезный, высоко ж взмостился Наполеон!

*На скале сидеть можно, но над скалою...
Слишком странная фигура!...»*

Этот незаконченный литературно-критический очерк свидетельствует о критических суждениях и эстетических требованиях Раевского, которые оказали

заметное воздействие на формирование творчества Пушкина.

Характеризуя широкую образованность «первого декабриста», его солидные знания в области исторических наук, исследователь жизни Раевского Щеглов П. Е. отметил, что Раевский «сам был поэтом и, следовательно, мог быть судьей поэтических произведений. Именно эти данные и выдвинули Раевского на первое место в кишиневской толпе друзей поэта».

В конспекте Раевского по античной литературе упоминается о бездарном греческом поэте Хериле, «несмотря на грубость его стихов, без вкуса, без красоты, он был любим и уважаем Александром, которым был одарен как наилучший стихотворец. Сулла в Риме обошелся столь же щедро с поэтом. Он дал ему большое награждение с уговором, чтобы он никогда больше не сочинял».

21 февраля 1821 года у Орлова намечался бал. Задолго до начала Орлов пригласил Раевского в кабинет и спросил:

— Мне очень приятно, что вы, Владимир Федосеевич, добились полного повиновения ваших подопечных.

Раевский улыбнулся:

— Еще древний Ликург заметил, что «люди не повинуются тем, кто не умеет повелевать». Сегодня пояснял кадетам, что большие буквы пишутся в начале каждой строки стихотворения, и привел пример:

*Пролита кровь сия была
Во искупление свободы.*

А потом целых десять минут объяснял слово «свобода».

Генерал понял намек своего единомышленника, который бросил взгляд в окно и увидел, что к дому спешит Пушкин, сказал: «Идет Овидиев племянник», и больше не стал распространяться о способах обучения своих подчиненных.

В те пасмурные февральские дни Кишинев был заполнен греческими этеристами. Их можно было встретить на улицах, в магазинах и других общественных местах. Чаше они собирались группами и о чем-то спорили оживленно. Возникшее еще в 1814 году в Одессе тайное общество греков «Филики Этерия» (Дружеское общество), центр которого к 1820 году переместился в Кишинев, готовилось к восстанию против турецкого владычества. К этому времени вождем общества стал выходец из греческой аристократической семьи генерал русской службы Александр Ипсиланти. Участник наполеоновских войн, в боях под Дрезденом потерявший правую руку, он был некоторое время флигель-адъютантом императора Александра I. «Безрукий генерал», как его звали в Кишиневе, отличался высокомерием и тщеславием, а поэтому часто окружал себя людьми невысоких принципов.

Пушкин с шумом вошел в квартиру, порывисто обнял Михаила Федоровича, а затем Раевского, сообщил:

— Только что видел главного этериста, стремглав промчавшегося на тройке.

Михаил Федорович хорошо знал Ипсиланти, поэтому Раевский его спросил:

— Михаил Федорович, у Ипсиланти есть задатки полководца?

Пока Орлов собирался с мыслью, Пушкин не удержался:

— Это Пфуль в наполеоновской треуголке.

Михаил Федорович рассмеялся, он начал говорить, что подобные толки об Ипсиланти правдоподобны. В это время в кабинет приоткрылась дверь, слуга доложил:

— Генерал Ипсиланти...

— Простите, — бросил хозяин и быстро пошел навстречу.

— Однако легок на помине, — заметил Пушкин, а через минуту дверь вновь открылась.

— Милости просим, Александр Константинович, — пригласил гостя Михаил Федорович, пропуская его впереди себя.

В комнату вошел высокий, стройный мужчина. Лысина на голове и отсутствие правой руки не портили его внешности. Молча сделав кивок в сторону Пушкина и Раевского, гость опустился в кресло, через минуту поднялся, подошел к Пушкину, подал ему руку и, как бы извиняясь, сказал:

— Простите, я вас не узнал, господин Пушкин.

— Не мудрено, — блеснул глазами Пушкин, подхватив на руки котенка, вертевшегося у его ног.

— Знакомьтесь, Александр Константинович, — Орлов показал рукою в сторону Раевского, — это главный учитель моей дивизии — Владимир Федосеевич Раевский. Помните песню «Судьба нам меч вручила», которую пели наши солдаты в двенадцатом году? Это его слова.

Ипсиланти на это ничего не ответил и тут же заторопился:

— Мне пора уходить, Михаил Федорович, меня там ждут. Я зашел, чтобы проститься с вами перед дальней дорогой. Завтра в путь... Я уезжаю, чтобы подарить свободу моему народу...

— Александр Константинович, вы можете рассчитывать на меня, — поднявшись со своего места, громко сказал Пушкин.

— Я надеюсь, что вы будете не одним русским, желающим оказать помощь моему народу.

— Успеха вам, Александр Константинович, — пожелал Орлов. — Я буду рад, если императорское величество соизволит оказать вам помощь. Моя дивизия к тому готова, — и, глядя на Пушкина, улыбаясь, добавил: — А в отношении волонтеров, надеюсь, что они будут. Фамилию первого вы уже знаете...

Как потом стало известно, Пушкин действительно имел намерение лично (как впоследствии английский поэт Байрон) принять участие в освободительном движении греков.

Проводив гостя, Михаил Федорович возвратился в комнату и, глядя на Раевского, спросил:

— Полагаю, Владимир Федосеевич, что сейчас нет необходимости продолжать отвечать на ваш вопрос. Вы человек проницательного ума, и если не все, то многое уразумели.

На второй день Ипсиланти перешел русско-турецкую границу, оказался в Яссах. С территории Бессарабии через Прут в Валахию переправилось более тринадцати тысяч этеристов.

Южные декабристы с пристальным вниманием следили за борьбой этеристов, выражали им горячее сочувствие. Они надеялись, что восстание греков приведет к русско-турецкой войне, что, в свою очередь, создало бы в России благоприятные условия для начала вооруженного восстания. Но это понимало и царское правительство. Напуганное революционным движением в Европе, оно стало опасаться греческого национально-освободительного движения. Александр I вначале сочувственно относился к этерии, потом резко изменил к ней свое отношение. По мнению Раевского, восстание греков «пробудит... народный сон и гидру дремлющей свободы» в России.

В стихотворении, посвященном этим событиям, он пишет:

*Простите, там для вас, друзья,
Горит денница на востоке,
И отразилась заря
В шумящем кровию потоке,
Под сень священную знамен
На поле славы боевое
Зовет вас долг, добро святое...*

Пушкин также внимательно следил за событиями в Греции и писал: «Дело Греции вызывает во мне горячее сочувствие», и: «...ничто еще не было столь народно, как дело греков...»

После того как этеристы потерпели поражение, Пушкин, зная истинные причины поражения, в повести «Кирджали» писал: «Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверия...»

Дружеские отношения Пушкина с Раевским поддерживались с первых дней знакомства и до ареста Раевского.

Уже потом, в январе 1826 года, когда великий поэт находился в Михайловском и, узнав о событиях 14 декабря и последовавшей за ним волне репрессий, прокатившейся по всей стране, в письме к Жуковскому писал, что объявлена опала также и тем, кто имел какие-либо сведения о заговоре и не донес. «Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще

не ушел, легко можно уличить меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных... В Кишиневе я был дружен с майором Раевским...»

Не знал тогда поэт, что в окрестностях Михайловского о нем тайно собирал сведения агент-осведомитель Бошняк, присланный из Петербурга. Он имел открытый лист на арест Пушкина, если будет обнаружено, что Пушкин «возмущал к вольности крестьян...». Достаточно было какого-либо наговора, и поэт был бы арестован. Тайный агент ничего крамольного не обнаружил. Открытый лист случайно оказался неиспользованным. Однако Пушкин, ожидая обыска и ареста, уничтожил свои дневники кишиневских лет. Нет сомнения, что в них мы бы нашли любопытные детали о его дружбе с Раевским.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«...ОРЛОВ НЕДЮЖЕГО ПОКРОЯ...»

В Кишиневе все знали дом таможенного сборщика пошлин, берегового капитана Михалаке Кацике. В гостеприимном доме не раз бывали Раевский и Пушкин. С обаятельным и прогрессивно настроенным хозяином их познакомил генерал Пущин, постоянный посетитель дома Кацике. Вокруг Кацике группировались просвещенные люди города. Вечерами в доме велись разговоры на самые различные темы.

На одном из вечеров весной 1821 года генерал Пущин преднамеренно завел разговор о масонах. Он уже давно задумал создать масонскую ложу в Кишиневе.

Масонство, история которого уходит в глубину веков, покрыта мраком подлинных и мнимых тайн, является организацией мирового толка. Даже многие организаторы масонских лож мало знают или вообще не знают истинных целей масонов, скрываемой за лозунгами братства, любви, равенства и взаимопомощи. Не знал, очевидно, этого и генерал Пущин. Его предложение о создании ложи было одобрительно встречено присутствующими на том вечере. Большинство из них уверовало, что ложа будет заниматься просветительством, способствовать нравственному совершенствованию. Прошедшая Отечественная война всколыхнула людей, объединила их, но после нее начался застой в общественной жизни. И чтобы выйти из застоя и затворничества, прогрессивно настроенные люди стали объединяться в различные кружки, союзы. Даже в армии после ее заграничного похода создавались «бытовые» артели, а

на самом деле они были идейным содружеством вольнодумных офицеров.

Привлекательность масонских лож была вызвана тем, что они являлись как бы маленькими независимыми островами в море всеобщего официального застоя. Многих влекла в масонство таинственность этих союзов «свободных каменщиков».

В России масонство имеет свою историю. Екатерина II в 1792 году запретила масонство. Но, вступив на престол, император Павел, движимый духом противоречия к ее деяниям, разрешил масонство. В последующие годы ложи создавались с молчаливого одобрения правительства. В 1816 году, когда возник вопрос об открытии в Москве масонской ложи «Александра тройственного спасения», император сказал: «Я не даю явного позволения, но смотрю сквозь пальцы; опытом доказано, что в них нет ничего вредного».

Когда Кишиневская ложа только начала организационно укрепляться, о ней проведал Пушкин и загорелся желанием вступить в нее. А когда его приняли, он предложил дать название ложи — «Овидии» — в честь высокочтимого римского поэта Овидия. За что Раевский в шутку назвал Пушкина Овидиевым племянником.

В мае 1821 года Пушкин записал в своем дневнике:

«4 мая я был принят в масоны». Протокол об учреждении ложи был подписан ее учредителями несколько позже. Предстояло утверждение ложи Великой Ложей Астрея, и только после этого она приобретала право на существование. Великая Ложа «... даровала конституцию новой ложе, открывающейся... в Кишиневе под названием «Овидий», и назначила ей номер 25». Майор Раевский вступил в ложу одним из первых, он тайно вынашивал надежду придать ей революционную направленность.

Заседания ложи в основном проходили в доме Михалаки Кацике. Пушкин внимательно присматривался к работе ложи; его проницательный ум вскоре постиг «просветительскую» сущность ее и написал ироническое стихотворение, показывающее бесплодность просветительства.

*И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь «Свобода!».
Хвалю тебя, о верный брат!
О каменщик почтенный!
О Кишинев, о темный град!
Ликуй им просвещенный.*

Пушин это стихотворение принял в свой адрес и несколько дней косился на поэта. Вмешался Раевский, он поддержал Пушкина. Раевский настаивал на использовании ложи в интересах Союза благоденствия.

— Мы должны использовать ее легальное положение, проповедью нравственных идей пусть занимаются церковники.

— Я с вами согласен, Владимир Федосеевич, — согласился Пушин, — но боюсь, что если об этом поведают в Петербурге, ложу закроют.

Пушин словно в воду глядел: его сомнения оказались пророческими. Ложей заинтересовались в Петербурге. И уже 19 ноября начальник главного штаба прислал запрос генералу Инзову: «До сведения его императорского величества дошло, что в Бессарабии уже открыты и учреждаются масонские ложи под управлением в Измаиле генерал-майора Тучкова, а в Кишиневе некоего князя Суццо... при втором находится Пушкин... Касательно г. Пушкина также донести его

императорскому величеству, в чем состоят или состояли его занятия во времени определения его к вам. кат; он вел себя и почему не обратили вы внимания на занятия его по масонским ложам? Повторяется вновь вашему превосходительству иметь за поведением его самый ближайший и строгий надзор».

Школа взаимного обучения, которой управлял Раевский в Кишиневе, находилась вблизи метрополии. Ректором семинарии был архимандрит Нестерович (Иерений), хитрый развратный монах, умевший скрывать от посторонних глаз свои грешные дела. Раевский, зная о них, только улыбался, зато монах к школе Раевского очень долго и внимательно присматривался, выведывая, чему и как там обучают вольнодумству и не худо было бы ее прикрыть. Не давала ему покоя и масонская ложа, которая, как он обнаружил, ничем не была похожа на другие масонские ложи, о которых знал Иерений. Монах сочинил донос в Петербург, назвал школу рассадником вольнодумства, а масонскую ложу — скопищем якобинцев и карбонариев. И школу и ложу обвинил в заговоре. имеющем целью ниспровержение власти. В Петербург летело донесение за донесением. После очередного доноса император Александр I в январе 1822 года направил в Кишинев генералу Низову грозное распоряжение о закрытии ложи и... «в случае какого-либо сопротивления вашему превосходительству разрешается употребить даже силу».

Семь месяцев спустя после масонской ложи «Овидий» император издал указ «О уничтожении всех масонских лож и всяких тайных обществ». «Все тайные общества, — говорилось в указе, — под коими названиями они ни существовали, как то масонских лож, или другими, закрыть и учреждения их впредь не дозволить». Указ требовал, чтобы все лица, находящиеся на государственной или военной службе,

давали подписку о непринадлежности к тайным обществам.

Командир корпуса генерал Сабанеев усилил тайное наблюдение за генералом Орловым, майором Раевским и за Пушкиным. Было обнаружено, что Раевский в школе для юнкеров «давал развернутое определение конституционного правления, как лучшего и новейшего».

Для шпионской слежки Сабанеев использовал двух учащихся дивизионной юнкерской школы Суцова и Михалковского, а также платных агентов тайной полиции, образованной в 1821 году в Кишиневе. Сабанеев доносил в штаб армии генералу Киселеву, что «майор Раевский действительно вольнодумец, вредный для службы человек. Он наставлением своим внушал солдатам то, что им знать не следовало. Я бы желал, чтобы Раевского совсем из корпуса изгнать... Орлов человека сего ласкает, держит у себя и через то поощряет действие вольнодумства в других». «В Кишиневской шайке, кроме известных Вам лиц, никого нет, но какую цель имеет сия шайка, еще не знаю. Пушкин, щенок, всем известный, во всем городе прославляет карбонарием меня и выставляет виною всех неустройств. Конечно, не без намерения, и, я полагаю, органом той же шайки».

Раевский уже несколько месяцев трудился над «Рассуждением о работе крестьян». Однажды он развернул свежую газету и среди объявлений увидел, что вместо прежних слов о продаже людей появились слова «отпускается в услужение», поделился с Охотниковым:

— Константин, есть новость. Людей теперь запрещено продавать.

— Что, указ имеется? — обрадовался Охотников.

— Да, видимо, есть. Теперь их будут не продавать, а «отпускать в услужение», — сказал Раевский, улыбаясь. — Ловко, мерзавцы, придумали...

Прошло несколько месяцев, как Орлов переехал из Киева в Кишинев, став во главе 16-й дивизии.

Дома в кабинете генерала теснились полки с книгами, на стене висела географическая карта и несколько портретов родных. Еще при первом посещении генерала Раевский обратил внимание на то, что у генерала не было портрета императора, который в свое время обожал своего юного флигель-адъютанта. Он поручал ему принять капитуляцию Парижа, присвоив звание генерал-майора.

Об том событии однажды генерал рассказал Раевскому.

С подписанным актом капитуляции Парижа Орлов решительным шагом вошел в походную квартиру Александра I, представился:

— Ну-с, что вы мне привезли нового? — добродушно спросил царь.

Орлов подошел к столу, за которым сидел Александр I, и, положив ему на стол бумагу, сказал:

— Здесь капитуляция Парижа, ваше величество.

Александр взял бумагу, с явным удовольствием прочитал ее, а потом, сложив ее и сунув под подушку, сказал:

— Поцелуйте меня; поздравляю вас, что вы соединили имя ваше с этим великим происшествием...

Казалось, все хорошо складывалось для Орлова. Почет, слава, уважение самого императора. Но все это не пошло ему впрок. Он не мог быть покорным слугой бесправия и деспотизма.

Еще в 1817 году Орлов вступил в члены веселого литературного общества «Арзамас». По установившемуся обычаю каждый новый член произносил надгробное слово одному из живущих

членов. Орлов поступил по-другому. Он выступил с серьезной речью, в которой сказал, что недостойно мыслящим людям заниматься пустяками и литературными препирательствами, когда кругом так много важных дел. Тогда он предложил: во-первых, создать журнал, «коего статьи новостью и смелостью идей пробудили бы внимание читающей России», во-вторых, представить каждому из живущих не в столице членов учредить в месте его пребывания филиальное общество... и таким образом покрыть всю Россию сетью отделений.

Орлова никто не поддержал, и тогда он решил действовать самостоятельно. Задумал образовать тайное общество «из самых честных людей, для сопротивления лихоимству и другим беспорядкам», назвав его «Обществом русских рыцарей». Разработал устав общества и собирался представить его на утверждение царю. Но и в этом деле его постигла неудача.

В ноябре 1815 года Александр I даровал царству Польскому конституцию, учреждавшую автономное самоуправление, а собственный народ оставил в прежнем состоянии, Орлов сильно возмутился. Составил царю гневное письмо и начал собирать под ним подписи влиятельных лиц. Царь узнал об этом, призвал Орлова и потребовал составленное им письмо. Предчувствуя недоброе, Орлов, чтобы не подводить лиц, подписавших его, сказал, что письмо потерялось. Это было последнее свидание царя со своим любимцем. Более того, Орлова удалили из Петербурга и назначили начальником штаба 4-го корпуса в Киеве.

Дабы иметь возможность пропагандировать идеи Союза благоденствия, он вступает в Киевское отделение библейского общества, где вскоре его избрали вице-президентом общества. В августе 1819 года на торжественном собрании общества он выступил

с речью: «Во всяком времени, во всякой земле родится несколько людей, образованных как бы нарочно природою, чтобы быть противниками всего изящного и защитниками невежества. Их нельзя назвать злоумышленниками, они только заблуждаются и часто с чистейшими намерениями стараются достигнуть пагубнейшей цели... хулители всех новых изобретений, враги света и стражи тьмы... Сии политические староверы руководствуются самыми странными правилами: они думают, что вселенная создана для них одних, что они составляют особый род, избранный самым промыслом для угнетения других, что люди разделяются на две части: одна, назначенная для рабского челобития, другая — для гордого умствования в начальстве... В сем уверении они стяжают для себя дары небесные, все сокровища земные, все превосходство и нравственное и естественное, а народу предоставляют умышленно одни труды и терпение... Они называют учение — излишеством, а невежество — источником блаженства».

В заключение речи Орлов, призывая не жалеть никаких средств для просвещения народа путем создания школ взаимного обучения, сказал: «Я, с моей стороны, готовый жертвовать и своим именем и собою для исполнения сего предприятия».

Речь Орлова стала широко известна и ходила по рукам в списках. Будущее России Орлов связывал с освобождением крестьян. Он образно сравнил Россию с исполином, изнемогающим от тяжелой внутренней болезни. Он верил, что «рано или поздно честность, ум, добродетель должны взять верх».

Орлов предложил открыть в Киеве бесплатную приходскую школу на триста мест для сирот и детей бедных родителей.

Прочитав речь Орлова, Вяземский в письме к А. Тургеневу писал: «Читал ли ты библейскую речь

Орлова?.. Я ее читал с отменным удовольствием: много неправильности в слоге, но всегда сила, всегда живость, везде отпечаток ума доброго и души плотной... Как ловко отделался он от церковного пустословия... Ну, батюшка, оратор! Он и тебя за пояс заткнет: не прогневайся. Вот пустили козла в огород!.. Я в восхищении от этой речи и все еще в надежде, что она так с рук ему не сойдет... Орлов недюжинного покроя...»

Из Киева Орлов делился мыслями со своей сестрою: «...Я вижу славу вдали, и, может быть, когда-нибудь я добуду немного ее. Жить с пользою для своего отечества и умереть, оплакиваемый друзьями, — вот что достойно истинного гражданина, и если мне суждена такая доля, я горячо благодарю за нее Провидение».

Как-то в Петербурге открылась видная вакансия начальника штаба гвардейского корпуса, и друзья хотели рекомендовать кандидатуру Орлова, он разгневался: «Вы меня знаете: похож ли я на царедворца и достаточно ли гибка моя спина для раболепных поклонов? Едва я займу это место, у меня будет столько врагов, сколько начальников...»

Оказавшись командиром дивизии, Орлов почувствовал в своих руках реальную силу, необходимую для осуществления революционных планов. «У меня 16 тысяч под ружьем, 36 орудий и 6 полков казачьих... С этим можно пошутить», — писал он Александру Раевскому.

В Кишиневе квартира Орлова была как бы центром вольнодумства. «У нас, — писала жена Орлова брату, — беспрерывно идут шумные споры — философские, политические, литературные и др...»

Раевский сидел в кабинете Орлова и, пока генерал читал бумаги, принесенные адъютантом, старался догадаться, зачем его вызвал генерал.

Несколько минут спустя Орлов отпустил адъютанта, повернулся к Раевскому, добродушно спросил:

— Как дела, Владимир Федосеевич?

— «О деле судят по исходу», — говорил Овидий, а до исхода еще далеко, — ответил Раевский, имея в виду их общие дела по Союзу благоденствия.

Орлов улыбнулся, сказал:

— Это верно, как и то, что вы однажды упрекали Пушкина за употребление им в сочинениях имен не русских, а римских исторических лиц, а сами сейчас привели слова Овидия, тогда как на сей счет есть замечательная русская поговорка, надеюсь, слышали: «Цыплят по осени считают»?

— Согласен, Михаил Федорович, согласен.

— Вы, очевидно, догадались, зачем я вас пригласил?

— Точно знаю, что не для игры.

Орлов, пододвинув к себе папку, раскрыл ее, нашел нужную бумагу, быстро пробежал глазами и отложил в сторону, перешел на доверительный тон:

— Не знаю, как кого, а меня, Владимир Федосеевич, угнетает то, что в наших полках большое количество беглых и дезертиров. Долго я не мог постичь причину того, а теперь, кажется, постиг. Прежде чем принять меры против этого бедствия, решил иметь совет с вами, узнать ваше мнение на сей счет. Вы стоите ближе к солдатам. В штабе мне подготовили справку о побегах за последние четыре месяца, я взял этот период времени потому, что четыре месяца назад была введена смертная казнь за побег. Вы думаете, что это помогло? Количество побегов уменьшилось? Нисколько. Наоборот, возросло. Вот в чем вся трагедия.

— Меня всегда это волновало, Михаил Федорович. Я пришел к выводу, что одной из причин, и, быть может, главной, есть то, что в полках созданы невыносимые условия для солдат: кормят отвратительно, за малейшую провинность избивают, а жаловаться нельзя,

ибо малейший ропот есть преступление, за которое следует такое же жестокое наказание. Ничего подобного нет ни в одной армии мира... Позор...

— Что же делать? — спросил Орлов и встряхнул колокольчиком.

Тотчас на пороге появился слуга:

— Что изволите, ваше превосходительство?

— Пожалуйста, бутылку вина и фруктов, — распорядился хозяин и порывисто поднялся со стула, зашагал по кабинету. Чувствовалось, что в душе генерала все кипело, его благородное красивое лицо покрылось испариной. Но уже через минуту он решительно взмахнул рукою и словно отрубил:

— Так далее продолжаться не может! Во всяком случае. в моей дивизии...

Генерал продолжал шагать по кабинету, вслух рассуждая:

— Солдаты стяжали себе бессмертную славу на полях Бородина, под Кульмом... Изгнали Наполеона, помогли другим народам, а над ними издеваются. Это стало нормой во всей армии. Верно вы заметили, что это позор. Позор для всей державы!

Слуга тихо зашел в кабинет, поставил на стол бутылку вина, вазу с фруктами, два хрустальных бокала и так же тихо удалился.

Орлов налил бокалы, опустился в кресло.

— Вы знаете, что мне сейчас вспомнилось? Триумфальные арки, встречавшиеся на пути домой, когда мы возвращались из-за границы. Помните? На одной стороне арки было написано: «Слава храброму русскому воинству», а на другой — «Награда в Отечестве». Какую же награду получили солдаты? По одной сайке! А они так надеялись, что будет уменьшен срок службы. А потом император подписал указ, в котором известил, что «верный наш народ да получит мзду свою от бога».

После этих слов хозяин улыбнулся, добавил:

— Тогда в народе ходила шутка, что бог что-то послал для солдат, но черт в пути перехватил... Ну-с, ладно. Ближе к делу. Я хочу просить вас, Владимир Федосеевич, произвести тщательное расследование случаев побега из учебной команды вашего полка. Девять человек одновременно бежали. Командир полка Непенин выдаст вам предписание, но по окончании расследования копию доклада вашего представьте мне. Может быть, дать вам кого-либо в помощь?

— Нет, нет. Я сам разберусь, Михаил Федорович.

— Вот и прекрасно. Да, я еще хочу напомнить вам, Владимир Федосеевич, что Павел Иванович прослышал о ваших «непозволительных» разговорах с нижними чинами, просил вас быть более осмотрительным...

— Буду, — ответил Раевский и, достав из кармана лист бумаги, сказал: — Вчера отобрал у одного юнкера сей лист, желаете узнать, какие стихи ходят в списках?

— С удовольствием, — ответил генерал.

Раевский прочитал вслух:

*Ах! Прекрасная весна,
Ты приятна и красна.
Если вольным кто родится,
Тот с тобою веселится.
А солдату ты, весна,
Очень, очень не сносна,
Тут начнется в ней ученье
И тиранство и мученье.
О! Солдатская спина, —
Ты к несчастью рождена.
Ты родилась на беды,
Тебя бьют без череды,
Офицеры так, как черти,
Солдат мучают до смерти.
Кулаками по скулам,*

*А тростями по бокам.
Если трости мало станет,
Тесаков на то достанет.
Экспонтоны не гуляют,
Часто под бок прилетают.*

— Вы юнкера, надеюсь, не наказали?

— Разумеется, нет.

— Владимир Федосеевич, я полагаю, что нам следует принять в союз обоих братьев Липранди, каково ваше мнение?

— На них мы будем рассчитывать, но с приемом пока повременим, Михаил Федорович.

В это время приоткрылась дверь, в кабинет вошла Екатерина Николаевна, жена генерала. В красивом вечернем платье она казалась совсем юной.

— Не помешала?

— Нет, мы закончили, — ответил Михаил Федорович.

— Господа, пожалуйста к столу. В гостиной вас ждут Александр Сергеевич и господин Лппранди, — позвала хозяйка.

Подходя к гостиной, хозяева и Раевский слышали громкий смех подполковника Липранди, а потом голос Пушкина:

*Подогнув под ж... ноги,
За вареньем средь прохлад...*

— Узнаю Александра Сергеевича, — заулыбался генерал...

Уйдя от Орлова, Раевский дома мысленно составлял план расследования, он заранее знал, что наживет себе врагов, но это его не пугало.

29 декабря 1820 года командир полка полковник Непенин вручал Раевскому предписание:

«Господину капитану и кавалеру Раевскому.

По донесению командующего вторым батальоном... из учебной команды бежало девять человек, почему предписываю Вашему благородию с получением сего отправиться в город Килию и сделать подробное исследование, не имеют ли нижние чины претензий на своих командиров... и, главное, нет ли побоев...»

Заканчивался декабрь. Небо затягивали хмурые тучи, посылая на землю морозящие, нудные дожди. Настроение у Раевского было под стать погоде — мрачное. С предписанием командира полка полковника Непенина он прибыл в город Килпю для расследования причин побега девяти солдат из учебной команды полка. Командировка ничего приятного не сулила. Он знал, что ему нужно будет приоткрыть шторы, за которыми скрываются неблагоприятные дела офицеров батальона.

Побеги тогда были не редкость. Из 17-й дивизии, которая соседствовала с 16-й, за шесть недель только из одного полка бежало 28 солдат. Офицер, проводивший расследование в 17-й дивизии, рассказывал Раевскому, что два раза в день там проводятся изнурительные учения, от сильной затяжки на груди ранцевых ремней солдаты падают в обморок. Один солдат, участвовавший в двух войнах и имеющий три ранения, хотел застрелиться от невыносимой жизни, но как христианин предпочел умереть от руки бусурманов, а потому и бежал, зная, что они режут головы, но имел несчастье быть пойманным, попросил, чтобы его расстреляли.

Генерал Орлов, как и Раевский и другие прогрессивные офицеры, был уверен, что побегов можно избежать, но для этого надобно создать солдату минимальные человеческие условия.

Раевский долго и упорно изучал причины побега девяти солдат. Он вникал во все подробности учебы и быта солдат, со многими беседовал, как говорят, по душам. Солдат Деркач во время разговора вначале плакал, а потом доверительно поведал:

— Я, господин капитан, сосчитал, что только в роте имеется двадцать четыре начальника, кои имеют право наказывать солдата по 200–300 ударов палками.

— Я с вами согласен, но, прошу вас, более об этом никому не говорите. Генерал Орлов не даст в обиду вашего брата.

21 января Раевский возвратился из командировки и рапортом на имя командира полка, а в копии генералу Орлову донес: «...Господин подпоручик Нер палками наказывал мало, но сильно и жестоко бил людей своеручно по зубам... В 4-й егерской роте фельдфебель Садовский, кроме жестоких побоев, своеручно по зубам, наказывал даже и по сие время некоторых палками и тесаками... Но что всего хуже, что фельдфебель удерживал часть провианта как на квартирах, так и в карауле, и когда нижние чины стали требовать отчета и пополнения провианта, то удары по зубам были его единственным ответом. 5-й егерской роте, где прежде побоев не было и где в таком большом количестве открылись ныне, все от первого до последнего показали, что подпоручик Андреевский со вступлением своего в командование не встречал иначе роты, как самыми жестокими ругательствами и поносительными выражениями, унижающими не только звание воина, но и самое человечество. По опросу оказалось, что по принятию роты за учение наказывали от 100 до 300 ударов палками, что и в штрафную книжку не заносилось. Побои же по зубам, по голове и прочим частям корпуса солдаты не ставят в счет — унтер-офицеры Назаров и Донец не только жестоко били людей по зубам, но первый весьма часто грызет людей

за уши и за лицо. Во время квартирования по деревням в декабре месяце за целый месяц солдаты не получали провианта, говорили им, что они кормят их из милости, а на жалобу нижних чинов на жителей господин поручик Андреевский никакого удовлетворения никому и никогда не делал... Я другой причины побоев открыть не мог, как от обхождения командиров вообще к своим подчиненным, доказательством сему служить может, что из 2-й карабинерной и 5-й егерской только были бежавшие».

Расследование послужило своеобразным толчком Раевскому для продолжения начатой работы «Рассуждение о солдате». В те дни он записал:

«С 18 до 30 лет — суть лета, когда человек известного роста и крепкого сложения принимается на службу военную. И... оставя семейство, земледельческое состояние... он клянется царю и службе на 25 лет сносить труды и встречать мученья с безмолвным повиновением. Клятва ужасная! Пожертвование, кажется, невозможное!..

Учение и караулы, суть обязанности, предписанные законом солдату в мирное время... Следственно, требовать строгого исполнения обязанностей от солдата, несомненно, надлежит, но облегчить участь его повелевают и религия, и устав чести! Офицер или дворянин имеет право (если он недоволен) оставить службу — офицер имеет в виду награды чести или награды денежные, для которых в нашем монархическом правлении все дворянство служит. Но солдат имеет в виду бедность, труды и смерть. Редко, очень редко без одного проступка прослужить можно 25 лет, а сделавши один проступок, он обрекается законом на вечную службу!.. Участь его была бы сносною, если б вкравшиеся злоупотребления, основанные на лихоимстве и бесчеловечии, не вырвались из пределов своих и не обременили солдата

кандалами незаконного насилия и не принудили бы его видеть в начальниках тиранов, которых он боится и ненавидит... первое зло, которое вкралось в русскую армию, есть несоразмерно жестокие телесные наказания, которые употребляют офицеры... для усовершенствования солдат, и, к несчастью и стыду, других средств большая часть из них не постигает... тех, кои дерзают приносить жалобы, или обвиняют в возмущении и наказывают и горе тому, который жаловался и остался в том же полку! Наши офицеры верить не могут, чтобы солдат мог быть когда-нибудь прав! Смело заключить можно, что из 20 наказанных солдат два только сознаются, что они наказаны справедливо... несчастный солдат, не находя нигде защиты... впадает в бесчувственное ожесточение и часто для спасения своего делает извинительный побег... Участь благородного солдата всегда почти вверена жалким офицерам... С испорченной нравственностью, без правил и ума... Малейший ропот вменяется в преступление. Жалоба метится сильнее, нежели самое преступление...»

В «Рассуждении» Раевский приводит пример из устава Петра Великого, согласно которому запрещалось самоуправие, то же подтверждалось Уставом воинским Александра, «но наши офицеры, большей частью взрослые в невежестве и не получа хороших начал, презрели все уставы и порядок, на которых основана истинная дисциплина, — приступили к доведению солдат не терпением и трудами, но простым и легчайшим средством — палками. Отсюда начались все неурядицы, частые беспорядки и несправедливое наказание солдат. Солдат не ропщет на законные и справедливые наказания, но он ненавидит корыстолюбивого и пристрастного начальника».

«Рассуждение о солдате», как и «Рассуждение о рабстве крестьян», Раевский прятал подальше, однако

при обыске оба эти документа были найдены и изъяты. Во время следствия Раевский пытался доказать, что он их где-то переписал. Он имел возможность уничтожить эти документы и не уничтожил, ибо они были ему очень дороги. Это плод его многолетних наблюдений и размышлений. Он надеялся, что их не обнаружат, потому как спрятал в папке, на которой для отвода глаз написал: «Извлечение из библии». Обнаружили.

Орлов не удивлялся великому числу беглых и дезертиров, но возмущался, что для прекращения этого зла начальство ввело смертную казнь для беглецов. Такой путь борьбы с дезертирами показался ему не только малоэффективным, но и варварским. Он решил испытать другие средства, которые помогли бы подействовать на души солдат, но вначале надобно было искоренить побудительные причины, толкающие солдата к бегству. Еще до расследования причин побегов он издал приказ, в котором отметил, что побеги могут случиться от разных причин, однако главные из них:

«1. Недостаток в пище и пропитании. Я не думаю, чтоб нашелся хотя один чиновник в дивизии, который не допустил солдату следуемую ему пищу, но ежели сверх чаяния моего, такие злоупотребления существуют... то виновные надолго от меня не скроются, я... предам их военному суду, какого бы звания и чина они ни были.

2...Прошу гг. офицеров... быть часто с солдатами, говорить с ними, внушать им солдатские добродетели, печась о всех их нуждах... Я сам почитаю себе честного солдата другом и братом.

3...Я почитаю великим злодеем того офицера, который следуя внушению слепой ярости... часто без причин употребляет власть на истязание солдат. От тяжести и несправедливости может родиться отчаяние,

от отчаяния произойти побег, а за побег за границу наказывается смертью...»

Орлов потребовал, чтобы приказ был объявлен в каждой роте лично командиром роты, предупредил, что за неисполнение командир будет строго наказан.

Как и следовало ожидать, солдаты выслушивали приказ генерала Орлова с большой радостной верой в то, что, может быть, незаконные притеснения если и не прекратятся, то хотя бы уменьшатся.

В те годы полковник Пестель, вскрывая различные пороки армии, пришел к заключению, что многие научились обманывать начальство, а «хорошенько обманывать — есть искусство, которое частым только в нем упражнении достигается, и потому чем прочнее полковой командир и чем искуснее в пороках, тем большею пользуется безопасностью и тем более может ожидать награждения и внимания от начальства».

Пестель прочитал список приказа Орлова, который распространялся тогда в армии, сказал:

— На Руси всегда имелись умные генералы, не перевелись и теперь. Школа Суворова и Кутузова находит своих последователей...

Приказ Орлова объявлен всему составу дивизии, но прежние варварства в отношении к нижним чинам продолжались. И тогда Орлов издает очередной приказ. «Думал я до сих пор, — говорится в нем, — что ежели нужно нижним чинам делать строгие приказы, то достаточно для офицеров просто объяснить их обязанности...», далее он отмечает, что солдат бьют, а не наказывают, и не только пренебрегают исполнением его приказов, но не уважают даже голоса самого главнокомандующего. Приводит пример, что в Охотском пехотном полку г. майор Вержевский. капитан Гимбут и прапорщик Пенаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат... «Приказом Орлова г. майор Вержевский. капитан Гимбут отстраняются от

занимаемых должностей, а прапорщику Пенаревскому отказано от всякого рода команд. Всех троих представляю к военному суду и предписываю состоять на гауптвахте впредь до разрешения начальства...» В конце приказа Орлов объявил благодарность всем нижним чинам за прекращение побегов в течение его командования.

Приказ Орлова солдаты восприняли с большой радостью, в генерале Орлове они увидели своего заступника. Когда он приезжал в какой-нибудь полк своей дивизии, солдаты, не дождавшись приближения его, бурно приветствовали криками «ура!».

Этот приказ переполнил чашу терпения корпусного командира генерала Сабанеева. Ему жаловались не только офицеры 16-й дивизии, но и 17-й дивизии, что Орлов не дает возможности учить солдат. В отличие от Орлова командир 17-й дивизии генерал-майор Желтухин откровенно говорил: «Сдери с солдата кожу от затылка до пяток, а офицеров переверни кверху ногами, не бойся ничего».

Против приказа Орлова восстал также и начальник штаба Сабанеева генерал Вахтен, что дало повод Раевскому написать Охотникову: «...Приказы Орлова, кажется, написаны были на песке! Вахтен при смотре разрешил не только унтер-офицерам, но и ефрейторам бить солдат палками до 20 ударов!!! И благородный порядок обратился в порядок палочный...

В короткое время при начальстве вандалов служба становится хуже горькой редьки...»

Потом, при допросе, Раевскому задали вопрос, кого он имел в виду под словом «вандалы»? На что он ответил: «Под словом «вандализм» разумею беспорядок, основанный на употреблении во зло власти, которая сделала службу действительно хуже горькой редьки...»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ НАДВИГАЮЩАЯСЯ ГРОЗА

*Россия подобна исполину ужасной
силы и величины, изнемогающему от
тяжкой внутренней болезни.*

М. Орлов

Первым полком в империи считался лейб-гвардии Семеновский полк, созданный еще во времена Петра Первого. Он был любимым полком императора Александра I, официально считавшегося его шефом. Царь постоянно носил мундир семеновцев. Командир полка и другие офицеры назначались туда лично государем. В табеле о рангах офицеры Семеновского полка получали старшинство в два чина перед армейскими. По рекомендации Аракчеева командиром полка был назначен полковник Шварц. Солдафон без всякого образования, Шварц отличался необузданной грубостью и тупостью, любил изощренно издеваться над солдатами. «Недовольный чем-либо, он обращал одну шеренгу липом к другой и заставлял солдат плевать в лицо друг другу, — вспоминал Матвей Муравьев-Апостол, — из всех 12 рот поочередно ежедневно требовал к себе по десять человек и учил их для своего развлечения у себя в зале, разнообразя истязания: им приказывал стоять неподвижно по целым часам, ноги связывал в лутки, колол вилками и пр....»

Однажды солдатскому долготерпению пришел конец. Первая рота отказалась идти в караул. Ее поддержали другие. Никакие попытки уговорить солдат не помогли. В полк был срочно вызван командир гвардейского корпуса генерал Васильчиков. По пути в

полк возмущенный генерал похвалился своему адъютанту, что ему достаточно двух-трех минут для восстановления порядка в полку, но генерал заблуждался. Он больше часа уговаривал солдат, и безуспешно. Затем генерал перешел к угрозам и оскорблениям, а это, как говорят, подлило масла в огонь. Солдаты убедились, что генерал во всем обвиняет их, и устранять полковника Шварца от командования полком и не собирается, выделили от себя около ста человек, которые начали разыскивать Шварца, дабы уничтожить его... Найти Шварца не смогли: он укрылся в куче навоза, где, естественно, его не подумали искать. Там он просидел до поздней ночи. К этому времени во взбунтовавшийся полк прибыл генерал-губернатор Милорадович, а вскоре за ним последовал и великий князь Михаил Павлович, который держал совет с Милорадовичем и Васильчиковым. Было решено отправить второй батальон в Кексгольм, третий батальон морем в Свеаборг, а солдат первого батальона заточить в Петропавловскую крепость для последующего суда. Что и было исполнено. Расправа наступила вскоре. Многих солдат истязали шпицрутенами. Часть офицеров полка была разжалована, остальные отправлены в линейные полки подальше от Петербурга. То, что произошло в Семеновском полку, стало известно не только в Петербурге, но и по всей армии. В те дни в казармах петербургских полков были обнаружены прокламации, призывающие солдат «арестовать всех начальников, дабы тем прекратить вредную их власть, а из своего брата... выбрать надлежащий комплект начальников».

Разыскать лиц, писавших и распространявших прокламации, не удалось.

Волнение гвардейского Семеновского полка в 1820 году было первым открытым выступлением солдатской массы против крепостнических порядков в русской

армии. Около четырех тысяч солдат и офицеров полка вышли из повиновения. Слыханное ли дело?

Причиной волнения явилось усиление гнета в армии, в повсеместном насаждении палочной дисциплины и ненужной изнуряющей муштры. В полку служили многие будущие декабристы — Трубецкой, Якушкин, Бестужев-Рюмин, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, которые отменили телесные наказания в своих подразделениях, показывали примеры вежливого обращения с солдатами.

Встал вопрос: как дальше поступить с Семеновским полком? Это мог решить только сам император, находившийся в это время за границей. С уведомлением о случившемся к нему в Троппау был послан фельдъегерь.

Прочитав донесение, монарх побледнел. Он не мог осознать, что такое страшное неповиновение произошло в его любимом полку. Александр I был уверен, что это дело рук заговорщиков. В письме к Аракчееву царь писал: «Тебе должно уже быть известно, любезный Алексей Андреевич, несчастное, по в то же время постыдное приключение в Семеновском полку. Легко себе можно вообразить, какое печальное чувство оно во мне произвело; происшествие, можно сказать, неслыханное в нашей армии. Еще печальнее, что оно случилось в гвардии, а для меня лично еще грустнее, что именно в Семеновском полку... По моему убеждению, тут кроются другие причины...»

Была назначена военно-судная комиссия под председательством Алексея Орлова, которая определила, что 220 солдат подлежат смертной казни, но царь рукою Аракчеева приказал: 8 солдат-зачинщиков прогнать по шесть раз сквозь строй батальона, а затем сослать «навечно» на каторгу, всех остальных разослать в Сибирь и на Кавказ. В назидание другим...

Тяжкая участь солдатская... Известный актер Щепкин однажды рассказал, как он был очевидцем спора двух офицеров. Один из них предлагал другому пари на 500 рублей в том, что солдат его роты выдержит тысячу палок и не упадет.

Послали за солдатом, а когда он пришел, офицер спросил: «Степанов, выдержишь тысячу палок? Синенькую и штоф водки получишь».

«Рад стараться, ваше благородие», — ответил солдат. Услышав это, Щепкин был потрясен и тут же обратился к солдату:

«Как же ты, братец, на это согласился?»

«Все равно даром дадут», — ответил Степанов.

Генерал Васильчиков всегда отличался тем, что умел оказать добрую услугу монаршей власти. Это он 14 декабря 1825 года на Сенатской площади увидел растерянность нового государя, подошел к нему и настойчиво порекомендовал:

— Государь, чтобы спасти вашу империю, нельзя терять ни минуты, нужна картечь!

Николай I немедленно воспользовался его советом, но это было позже, а пока Васильчиков мучился над тем, как усилить наблюдение за инакомыслящими солдатами и офицерами. В необходимости такой меры он был убежден. «Учреждение хорошо организованной тайной полиции, — писал он императору после семеновского дела, — есть, по моему мнению, вещь необходимая. Я не считаю нужным высказать вам, как подобная мера мне противна, но теперь таковы обстоятельства, что надо заставить молчать свои предубеждения и удвоить бдительность надзора».

Получив согласие императора, Васильчиков составил «Проект об устройстве тайной военной полиции при гвардейском корпусе». В записке к проекту, представленному начальнику генерального штаба, он писал: «Вы найдете сумму немного великой,

но вы очень хорошо знаете этих мерзавцев, необходимо им хорошо платить». Далее генерал замечает, что явное ее существование неудобно, «опа должна быть так учреждена, чтоб и самое существование ее было покрыто непроницаемой тайной».

Решение состоялось, вскоре был подобран начальник мерзавцев. Им стал обер-мерзавец, успевший уже проявить себя в слежках и доносах, полковник Грибовский.

Система доносов быстро распространилась в армии и по всей стране. Декабрист Батеньков, служивший тогда в штабе Аракчеева, вспоминал: «Я шел с Аракчеевым по набережной Фонтанки. Вдруг указал он мне на одного нарядного человека... «Смотрите только на пего». С приближением нашим щеголь поворотил в сторону и быстро вошел в молочную лавку. Граф пояснил, что вот и шпион. который за ним наблюдает. К этому прибавил: «Государь умен, истинный царь, это не значит, что он в чем-нибудь мне не доверял, полиция без его приказа исполняет на всякий случай свое дело. Она меня не так любит, как свой долг».

Раевский действовал слишком смело и страстно. В офицерской среде откровенно высказывал свои суждения о злоупотреблениях высших чиновников, разоблачал основное зло России: «Кто дал человеку право называть человека своим и собственным?» По-братски обращался с солдатами, делился с ними табаком, иным помогал деньгами. Постоянно говорил, что офицеры и солдаты братья и никому не позволительно физически наказывать последних. Строго следил за тем, чтобы положенное довольствие солдаты получали сполна.

Когда Раевскому стало известно о волнениях в Семеновском полку, он поспешил поделиться этой новостью с солдатами своей роты. В конце беседы сказал:

— Молодцы семеновцы! Придет время, в которое должно будет, ребята, и вам опомниться. Надеюсь, вы будете действовать не хуже семеновцев...

Кто-то из солдат тяжело вздохнул, вполголоса выдавил:

— Вот кабы нам так. От нас в навозе не спрятался бы.

Раевский понял, что разговор зашел слишком далеко, поспешил перейти на другую тему:

— Сегодня в полк придет командир дивизии генерал Орлов, не исключено, что будет в нашей роте. Не осрамитесь...

Генералу Сабанееву по различным доносам стало известно, что Раевский, кроме преподавания уроков, ведет агитационную работу среди солдат. Еще в ноябре 1821 года генерал Черемисинов доложил Сабанееву, что «майор Раевский действительно вольнодумец и вредный для службы человек, а Орлов его ласкает, держит у себя, через «о поощряет действие вольнодумства в других...».

О «вольнодумце» Раевском стало известно в штабе 2-й армии. Главнокомандующий армией писал начальнику штаба армии генералу Киселеву свое мнение по этому вопросу: «Я с вами согласен, что торопиться не должно, но также желательно бы было, чтобы сейчас устранить зломыслящих людей, тогда мы останемся спокойными».

Сабанеев решил не терять времени и 6 января, прибыв в Кишинев, потребовал у Раевского ответов на поступившие доносы, при этом дважды назвал его преступником.

Несколько дней спустя Сабанеев высказал Киселеву намерение арестовать Раевского и заключить в Тираспольскую крепость, так как «он действительно вольнодумец и вредный для службы офицер». Слухи об

этом поползли по городу, Сабанеева рисовали как узурпатора. Сочинителем и главным распространителем слухов о себе Сабанеев считал Пушкина.

Раз в армии появился вольнодумец, то полагалось немедленно донести в Петербург, а поэтому в докладе генерала Киселева дежурному генералу Генерального штаба Закревскому в Петербург отмечалось: «...давно я имел под надзором некоего Раевского, майора 32-го егерского полка, который известен мне был вольнодумством совершенно необузданным: нынче по согласованию с Сабанеевым производится явное и тайное расследование о всех его поступках, и, кажется, суда и ссылки ему не миновать».

А тем временем подыскивался формальный повод для ареста Раевского. И он вскоре нашелся. Раевский, почувствовав нависшую угрозу, 1 февраля написал письмо в Измаил своему командиру и другу полковнику Непенину: «Спешу Вас уведомить обо всем здесь происходящем кратко и ясно. Когда прочтете, предайте письмо огню... Сабанеев велел приказы Орлова сжечь и возобновить жестокость и побои!.. Между тем подлец Суцов... подстрекаемый адъютантом Сабанеева, украл у меня какие-то бумаги, письма... написал на меня донос, и все это отдано в руки Сабанеева; еще дело не открыто, в чем это все состоит. Однако Сабанеев тотчас взял из нашей лицеи этого подлеца и отослал его в Тирасполь под свое крыло... Суцов, мерзавец, за мое добро славно заплатил!»

Встал вопрос: как отправить письмо?

Иван Липранди порекомендовал послать письмо с лейтенантом Дунайской флотилии Гамалеем. Тот согласился, но передал письмо не лично Непенину, а через генерала Черемисинова, а тот сразу отправил это письмо Сабанееву.

Здесь падает тень на Липранди, не он ли дал подобную инструкцию лейтенанту Гамалею?

В 1813 году Липранди-старший работал в военно-политическом сыске. Вигель в «Записках» сообщает, что Липранди в бытность свою в Париже был в близких отношениях с Видоком — главой парижской сыскной полиции, одним из агентов-provокаторов. Выполнял его поручения. Отыскивая кандидатуру в учреждаемую полицию при 2-й армии, генерал Вахтен писал Киселеву: «Сколько я знаю и от всех слышу, о Липранди один только, который по сведениям и способностям может быть употреблен по части полиции, он даже Воронцовым посему был употребляем в Франции... другого, способного занять сие место, не знаю...»

В 1826 году друг Пушкина Алексеев сообщает ему, что Липранди «живет по-прежнему здесь довольно открыто и, как другой Калистро, бог знает откуда берет деньги».

В своих записках Волконский говорит, что «и этот Липранди... *был* тайным и усердным сыщиком в царствование Николая, был орудием гонения раскольников, был орудием разыскания едва установившегося общества социалистов и. наконец, имел дерзость уже при Александре II подать проект об учреждении при университетах школы шпионов, вменяя в обязанность давать сведения министерству о тех студентах, которых употребляют они, чтобы иметь данные о мыслях и действиях их товарищей...».

Что-то нехорошее о Липранди-старшем, видимо, знал и Орлов, не зря же он писал: «Я буду просить молодого Липранди к себе в адъютанты. Это золото без примеси, редкий молодой человек, совершенно непохожий на братца своего».

Липранди был арестован по делу декабристов 17 января 1826 года, но уже 19 февраля был выпущен с очистительным аттестатом и становится адъютантом графа Воронцова, а в 1828 году по личному указу

императора назначается начальником вновь учрежденной высшей тайной заграничной полиции.

Случилось так, что в это время Орлов находился в Киеве в «бессрочном отпуске», и Раевскому не было никакой защиты. Сабанеев использовал письмо как подтверждение неблаговидных дел Раевского. Письменной санкции на арест Раевского Сабанеев пока не имел, но он был уверен, что в ближайшее время ее получит. Сабанеев имел на руках текст песни, которую тайно пели солдаты корпуса, и был уверен, что эту песню сочинил один из двух: Раевский или Пушкин.

Сабанеев, из-за близорукости тыкая носом в бумагу, читал:

*Лучше в свете не родиться,
Чем в солдатах находиться,
Этой жизни хуже нет —
Изойди весь белый свет.
В караул пойдешь — там горе.
С караула, так и вдвое...
Кто солдата больше бьет,
И чины тот достает,
Тем старателен, хорош.
Хоть на черта он похож.*

Закончив чтение, Сабанеев для пущей важности решил послать ее при очередном письме генералу Закревскому. Позвал адъютанта и велел сделать список.

Что произошло потом, рассказывал в своих воспоминаниях сам Раевский: «1822 года, февраля 5, в 9 часов пополудни кто-то постучался у моих дверей. Арнаут, который в безмолвии передо мною, вышел встретить или узнать, кто пришел. Я курил трубку, лежа на диване.

— Здравствуйте, душа моя! — сказал мне, войдя весьма торопливо и изменившимся голосом, Александр Сергеевич Пушкин.

— Здравствуй, что нового?

— Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе.

— Доброго я ничего ожидать не могу после бесчеловечных пыток Сабанеева... но что такое?

— Вот что: Сабанеев сейчас уехал от генерала. Дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но, слыша твое имя, часто повторяемое, я, признаюсь, согрешил — приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя непременно надо арестовать; наш Инзушко, ты знаешь, как он тебя любит, отстаивал тебя. Долго еще продолжался разговор, я многого недослышал, но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ничего открыть нельзя, пока ты не арестован.

— Спасибо, — сказал я Пушкину, — я ждал этого! Но арестовать штабс-офицера по одним подозрениям отзывается какой-то турецкой расправой. Впрочем, что будет, то будет. Пойдем к Липранди — только ни слова о моем деле.

Пушкин смотрел на меня во все глаза.

— Ах, Раевский! Позволь мне обнять тебя!

— Ты не гречанка, — сказал я.

Арнаут подал мне шпагу, перчатки и шляпу.

Липранди жил недалеко, на дворе было очень темно: в окнах у него светлело.

— У него гости. — сказал я, — пойдем...

6 февраля я встал рано утром. Перебрал наскоро все свои бумаги и все, что нашел излишним, сжег. Со мной в одной квартире жил капитан Охотников — любимец и друг генерала Орлова. С отъездом генерала Орлова он уехал в Москву. Его бумаги оставались у меня. Я не решался их сжечь, потому что не полагал в них ничего важного. Он был очень осторожен...

...Дрожжи остановились у моих дверей. Я не успел взглянуть в окно, а адъютант генерала Сабанеева, гвардии подполковник Радич был уже в моей комнате.

— Генерал просит вас к себе, — сказал он мне вместо «доброго утра».

— Хорошо, буду!

— Но, может быть, у вас нет дрожжек, он прислал дрожжи.

— Очень хорошо. Я оденусь...

С самоуверенностью я вошел в дом Сабанеева. Он был в зале. Впереди залы — большой стол; на нем в беспорядке навалены бумаги. По правую сторону, в некотором отдалении и ближе к выходу, стояли три юнкера из моей школы: Суцов — главный доносчик, Перхалов и Мандра. По левую сторону у ступы — адъютанты генерала Сабанеева; у другого конца стола, за которым стояло кресло, восседал генерал Сабанеев, как бы ожидая моего прихода...

Едва ему доложили, что я прибыл, он сделал несколько шагов вперед. Замешательство заметно у него было не только на лице, *но* и в самих движениях...

— Здравствуйте! Вот юнкера говорят, что вы в полковой школе говорили, что не боитесь меня! — сказал он тихим голосом. — Что вы скажете на это?

— Я ничего сказать не имею, кроме того, что я хорошо не помню, говорил ли я это им.

— Если вы не помните, то они вас уличат.

— Я улик принять не могу. Эти юнкера по требованию вашему только сегодня были выпущены из карцера, и дело не так важно, чтобы нужны были улики.

— Но я хочу знать, говорили ли вы?

Я полагаю, что, если бы я сказал: «не говорил» или «извините, что говорил», — и самолюбивый человек, может быть, кончил бы ничем... Но этот тон, это требование, моя вспыльчивость, вызов с юнкерами на очную ставку, — решили все.

— Я повторяю, что не помню, но если ваше превосходительство требует, чтобы я вас боялся, то извините меня, если я скажу, что бояться кого-нибудь считаю низостью.

Не ожидая подобного ответа, у Сабанеева все лицо повело судорогами. Он закричал:

— Не боитесь! Но как вы смели говорить юнкерам... Я вас арестую.

— Ваше превосходительство, позвольте вам напомнить, что вы не имеете права кричать на меня... Я еще не арестант.

— Вы? Вы? Вы преступник!..

Что было со мною, я хорошо не помню. Холод и огонь пробежали во мне от темя до пяток; я схватился за шпагу, но опомнился и, не отняв от шпаги руки, вынул ее с ножен и подал Сабанееву.

— Если я преступник, вы должны доказать это, носить шпагу после бесчестного определения вашего оскорбления я не могу...

Сабанеев был вне себя. Он схватил шпагу и закричал:

— Тройку лошадей, отправить его в крепость Тираспольскую!..

Город Тирасполь, как крепость на левом берегу Днестра, был основан Суворовым в 1792 году на месте сожженного турками поселения Старая Сукля. Крепость опоясывал высокий земляной вал с бойницами внутри. Войти внутрь можно было только через высокие, окованные железом ворота. В 1822 году в крепости размещался штаб 6-го пехотного корпуса, которым командовал генерал Сабанеев.

На территории крепости, кроме казарм, имелись все необходимые крепостные службы, до церкви включительно.

После того как Раевский был арестован и еще не отправлен в Тираспольскую крепость, служивший при нем арнаут несколько раз просил Раевского разрешить ему «Сабанеева резан», то есть зарезать. Раевскому стоило большого труда удержать его от этого.

«Через полчаса, — вспоминал Раевский, — все бумаги мои были забраны и опечатаны. К дверям моим был приставлен караул. Через семь дней я был отправлен в Тираспольскую крепость. Вот причина и начало шестилетнего заключения, тридцатилетней жизни в ссылке».

Одним из обвинений против Орлова и Раевского послужило происшествие в Камчатском полку 5 декабря 1821 года.

Командир 1-й мушкетерской роты капитан Брюхатов придрался к каптенармусу за то, что тот медленно сушил сухари. Брюхатов не стал выслушивать оправдание каптенармуса, приказал наказать его. Солдаты, видя несправедливость ротного по отношению к каптенармусу, который несколькими днями раньше тоже был наказан капитаном «за то, что не отдал ему «ассигновки на провиант», решили заступиться за невинного. Они отняли своего товарища из рук капитана, не допустили наказания.

Орлов, защищая солдат, создал комиссию для расследования злоупотреблений Брюхатова.

События в Камчатском полку встревожили Сабанеева: пример камчатцев мог быть заразительным для других солдат, и в этом он не ошибся. В первых числах января 1822 года 37 солдат Охотского пехотного полка подали жалобу на бесчинства батальонного и ротных командиров. Орлов встал на защиту солдат и главных виновников предал суду. Солдаты почувствовали «дух Орловщины», воспрянули, но в это время Орлов убывает в отпуск, и Сабанеев приступил к искоренению орловщи-ны. Он сам ведет расследование

происшествий в полках и в результате отменяет приказы Орлова.

В борьбе против Орлова и его единомышленников Сабанееву помогает его начальник штаба генерал Вахтен и командир бригады генерал Черемисинов: последний обнаруживает и доносит, что «майор Раевский действительно масон, вольнодумец и вредный для службы человек», а Орлов «человека сего ласкает, держит у себя и через то поощряет действия вольнодумства в других...».

Сабанеев донес командующему армией: «Прошлого декабря месяца в Камчатском пехотном полку случилось происшествие, которое, обратив на себя полное мое внимание, побудило в точности исследовать причины оного и употребить строгость для наказания преступников. Строжайшим исследованием открыв преступников, я предписал совершить в 48 часов военный суд над нижними чинами и по приговору оного конформировал наказать их кнутом... Экзекуция была произведена на глазах всей роты и в присутствии по 6 человек из каждой другой роты корпуса...»

Эту страшную картину истязаний собственными глазами видел один из чиновников Инзова, князь Долгоруков, который сделал запись в своем дневнике:

«У Аккерманского въезда против манежа... сегодня происходила казнь. Секли кнутом четырех солдат Камчатского полка. Они жаловались Орлову на своего капитана, мучившего всю роту нещадно, и сами, наконец, уставши терпеть его тиранство, вырвали прутья, коими он собирался наказывать и их товарищей. Вот, как говорят, вся их вина, названная возмущением и буйством... При собрании всего находящегося налицо здесь войска, тысяч около двух, прочитали преступникам при звуке труб и литавр сентенцию военную... Стечение народа было большое, — многие дамы не стыдились смотреть из своих колясок...»

Через двое суток все наказуемые умерли.

Расправившись с солдатами, Сабанеев решил посрамить Орлова и в письме к нему писал:

«Система управления Вашего дивизией, по мнению моему, возродила то буйство и неповиновение, каковыми отличила себя камчатская рота...»

Командир корпуса Сабанеев был убежден, что главным виновником всех возмущений в полках являлся «Раевский, злейший разбойник». И он тут же донес руководству армии: «Дабы положить преграду распространяемой Раевским заразы, я счел необходимым его арестовать и прекратить всякое с нижними чинами сношение».

Сабанеев в письме командующему армией изложил суть обвинения майора Раевского.

«Майор Раевский... внушал нижним чинам, что они ему не что иное как друзья-товарищи... Управляя в полку ланкастерской школой, слова «равенство», «свобода», «конституция» и пр. употребляемы были в прописях и на досках писались нижними чинами... С нижними чинами обходился без всякого различия по званию. Например, Раевский, встречаясь с солдатами, спрашивали друг друга о здоровье, потчевали один другого табаком, а когда солдаты прихаживали к Раевскому, сам принимал как гостей и даже садил. Майор Раевский... прочитывая происшествие Семеновского полка, говорил: «Вот, ребята, как должно защищать свою честь, и если кто вас будет наказывать, то выдьте 10 человек вперед и, уничтожа одного, спасете двести...» Правила же, коими руководствовался Раевский, состояли единственно в том, чтобы ослепить нижних чинов уверениями и привлечь их себе доверенность... В учебном заведении и дивизионной квартире он следовал тем же самым правилам. В прописях и форшрифтах для чистого письма часто были употребляемы слова, в пример следующие: революция,

конституция, Квируга, Вашингтон и тому подобные... Старался возбудить в нижних чинах чувство свободы... Поцелуй, ласковые слова и разные уверения служили ему орудием в поступках его... он принял за лучшее правило возбудить в нижних чинах негодование и недоверчивость к правительству, осуждая законы и постановления правительства...»

Адъютанты Сабанеева «подполковник Радич и Липранди-младший сделали обыск в квартире Раевского. Были изъяты различные письма и рукописи его работы «Рассуждение о солдате», и, как потом оказалось, среди бумаг был обнаружен список членов союза, который подтверждал существование в Кишиневе тайного общества. Списком заинтересовался Сабанеев и на второй день спросил у Раевского: что за список? Раевский ответил, что «всегда записывал передовых людей по образованию и уму». Сабанеев сделал вид, что поверил, но на всякий случай список отправил в штаб армии Киселеву.

Сабанеев предполагал, что существует тайное общество, но страшно боялся раскрыть его в своем корпусе, это бы подтвердило слухи о его близорукости. Он уже знал от Киселева окрик императора в свой адрес: «Скажите Сабанееву, что, дожив до седых волос, он не видит, что у него делается в 16-й дивизии».

«Вольнодумец совершенно необузданный», как назвал Киселев Раевского, находясь под арестом, понимал: для уличения его в «непозволительных» делах Сабанееву потребуются свидетели. В одном из них он уже был уверен, это юнкер Суцов, которого Раевский еще раньше заподозрил в воровстве у него списка членов Союза благоденствия. Этот список вместе с очередным донесением Сабанеев отправил через Бурцева дежурному генералу Байкову для последующей отправки генералу Витгенштейну.

Когда Байков вскрыл пакет и достал бумаги, оттуда выпал на пол небольшой листок, на котором значилось несколько фамилий. Байков ознакомился с бумагами, а список подал Бурцеву, сказав, что, вероятно, он попал по ошибке, так как к делу не относится. В списке Бурцев заметил свою фамилию и остолбенел. Однако он справился с собою и уйдя от генерала, список уничтожил.

Царь уже был осведомлен генералом Дибичем о том, что Раевский «для обучения солдат и юнкеров, вместо данных от начальства печатных литографских прописей и разных учебных книг, приготовил свои рукописные прописи, поместив в них слова: свобода, равенство, конституция, Квируга, Вашингтон, Мирабо... И при слушании юнкеров и уроков говорил: «Квируга, будучи полковником, сделал в Мадриде революцию; когда въезжал в город, то самые значительные дамы и весь народ вышел к нему навстречу и бросали цветы к его ногам... что конституционное правление лучше всех правлений, а особенно монархического, которое хотя и называется монархическим, но управляется деспотизмом... Называл солдат Семеновского полка молодцами и говорил: «Придет время, в которое должно будет, ребята, и вам опомниться».

Сабанеев непрерывно шлет депеши в Тульчин Киселеву о том, что он обнаружил за Раевским.

В письме от 29 января 1822 года сообщал:

«Раевский злейший разбойник, начинает объясняться. Вот, между прочим, один образчик гнусных его настроений. Он учил географии, в которой между прочим, говоря о правлении, написано: «Конституционное правление, где народ под властью короля или без короля управляет теми постановлениями и законами, коими они сами себе назначили... сие правление самое лучшее и новейшее». Чего здесь ожидать доброго?»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«СИЕ ДЕЛО СЛИШКОМ ВАЖНО...»

*За то, что прежде как нелепость
Сходило с рук не в счет бедам,
Теперь Сибирь грозитя нам
И Петропавловская крепость.*

М. Лермонтов

До 16 февраля Раевский находился под домашним арестом. Его крепостной слуга Сургенков никак не мог понять, что произошло с его добрым баринном. От знакомых нижних чинов он всегда слышал столько лестных отзывов о своем господине и вдруг... Однажды, когда Сургенков возвратился из магазина домой, майора дома не застал. На столе лежала записка: «Меня найдешь в Тираспольской крепости. Изволь быть там через неделю».

Отправив Раевского в Тираспольскую крепость, генерал Сабанеев приказал взять там его под «строжайший караул».

19 февраля 1822 года главнокомандующий 2-й армия генерал Витгенштейн ознакомился с представленными ему командиром корпуса Сабанеевым обвинительными документами на Раевского, предписал начальнику штаба генералу Киселеву:

«...При сем отправил я к вам все бумаги и последний рапорт г. Сабанеева с показаниями на Раевского офицеров 32-го егерского полка. Сии документы достаточны для отдания под суд Раевского, почему нужно вам: 1. Общее с генералом Сабанеевым нарядить суд из людей хороших, правых и надежных; 2. К генералу Орлову послать запросные пункты в Киев по

всем обстоятельствам, касающимся до него, ибо вновь вам должно, обще с генералом Сабанеевым его поступки строго разобрать и исследовать, на что я также прилагаю официальную бумагу. Сие дело слишком важно, дабы его легко трактовать. Прошу Вас, как можно не теряя времени, приступить к делу, дабы оно скорее окончилось...»

В тот же день генерал Витгенштейн отдал приказ генералу Сабанееву:

«Судить его, Раевского, военным судом. Суд сей учредить в г. Тирасполе под непосредственным Вашего превосходительства надзором, которому поставить в строгую обязанность открыть и самый источник предпринимаемых майором Раевским замыслов и содействующих ему в том лиц...» Далее главнокомандующий требует собрать все имеющиеся обвинения против Раевского и предъявить их суду, о ходе судебного процесса докладывать ему каждые три дня.

Получив повеление главнокомандующего, Сабанеев пришел к выводу, что сразу судить Раевского, без проведения следствия, рискованно, так как может оказаться, что против обвиняемого мало улик, а с Раевским, как он понимал, расправиться нелегко.

«Надобно провести обстоятельное следствие», — решает Сабанеев. Кроме того, генерал выведал где-то, что во время службы Раевского в Каменец-Подольске в должности адъютанта командующего артиллерией 7-го пехотного корпуса он пытался создать или создал там какой-то кружок, члены которого носили железные кольца, а посему решил, что было бы целесообразно учинить суд над Раевским не в его 6-м, а в 7-м корпусе. После личного доклада Сабанеева Витгенштейн согласился и велел провести подробное дознание над Раевским и судить его в 7-м корпусе.

Пока шло следствие, из Петербурга начальник главного штаба прислал секретный запрос главнокомандующему 2-й армии:

«До сведения государя императора дошло, что в городе Тирасполе содержится под арестом 32-го егерского полка майор Раевский, бывший директором дивизионного лица при 16-й пехотной дивизии. Вследствие сего государю императору угодно, чтобы Ваше сиятельство уведомили меня немедленно, какой лицей существовал или существует при 16-й пехотной дивизии и почему так именуется, ибо на сие нужно высочайшее разрешение, также за что содержится майор Раевский под арестом и почему не было о сем рапортовано, если он сделал важный какой проступок?

Сообщаю Вашему сиятельству сию высочайшую волю к надлежащему исполнению. Я буду иметь честь ожидать отзыва Вашего по сему предмету для доклада государю императору».

В штабе 2-й армии заволновались. В Петербург отправили обстоятельный ответ: «Майор Раевский арестован и находится под следствием»; «Но как за постоянное правило я себе поставил не утруждать его императорское величество донесениями моими до совершенно узнания всех подробностей дел, мною представляемых, и как обвинения, падшие на Раевского, относятся наиболее к прежнему времени, то и исследование оных не могло быть вскоре окончательно... и должно было исполняться тайным образом...» В этом докладе главнокомандующий, дав развернутую характеристику на Раевского, указал, что он командовал 9-й егерской ротой, имел репутацию ученого офицера, а когда был произведен в майоры, то в прошлом июле месяце дивизионный командир и назначил его «начальником не лица (как сказано в отношении Вашего сиятельства), но школы, составленной в то время из юнкеров». Школа

комплектовалась частично из молдавских дворян «особенно не образованных» и находилась под постоянным наблюдением корпусного командира генерала Сабанеева. Это обстоятельство давало право быть уверенному, что школа существует на вполне законном основании и закрытию не подлежит.

«...Наконец, не продолжительной бытности в Бессарабии генерал-лейтенант Сабанеев узнал, что управляющий школою майор Раевский хотя и имеет познания хорошие, но, находясь еще в 32-м егерском полку, при разных случаях объяснял он мысли превратные и нетерпимые в службе, как сие также было при известии о происшествии Семеновского полка, которое будто бы он находил похвалы достойным. Генерал-лейтенант Сабанеев, дабы убедиться в истине сих познаний, арестовал майора Раевского и, взяв его все бумаги, донес о том мне.

По всем сим уважениям я предписал учредить Следственную комиссию... Комиссия действует со всевозможною поспешностью, но поелику обстоятельства дела относятся наиболее к прошедшим годам, то медленности, происходящие от справок, допросов и переписки, необходимо задерживают окончание оною, и хотя подтверждал я о скорейшем завершении сего исследования, но, не получив еще обстоятельного донесения, не мог и не должен по обязанности моей, без точного объяснения и основываясь на одних тайных доносах, делать представление мое его императорскому величеству...»

После ареста Раевского Сабанеев решил самолично допросить многих солдат и офицеров. Полагая, что в данном случае коллективный допрос солдат окажется наиболее верным. Но с самого начала его тактика провалилась: в шести ротах допрашиваемые солдаты хором ответили: «Майор Раевский приказывал нам

служить верою и правдою богу и великому государю до последней капли крови». Хотя, по признанию самого Раевского, он никогда этого им не говорил.

Никакого политического процесса Сабанеев не желал, а сводил все к дисциплинарным нарушениям и антиправительственным разговорам. Прوماхи и упущения в следствии, на которые потом указали высшие следственные инстанции, Сабанеев делал по большей части сознательно, понимая, что открытие какого-либо политического союза в его корпусе могло сильно повредить служебной карьере, хотя он и писал Киселеву, что «союз воняет заговором государственным», но Киселев и сам не желал политического скандала в армии и тайно поддерживал Сабанеева. Четыре месяца велось тайное расследование, и только 17 марта была создана Следственная комиссия, которую возглавил начальник штаба 6-го корпуса генерал Вахтен.

Сабанеев знал, кому поручить следствие. Начальник штаба корпуса генерал Вахтен, немец по национальности, ненавидел Раевского за то, что он говорил о засилье в армии так называемых «немцев», а также всегда «резал» только правду, даже в глаза старшим начальникам. При инспектировании полка, когда Раевский еще был ротным командиром, Вахтен донес, что Раевский много говорит при старших и даже тогда, когда его не спрашивают. Кроме того, «он за свой счет сшил для роты двухшовные сапоги». Вахтен не забыл упомянуть и о том, что Раевский «часто стреляет из пистолета в цель».

Теперь начались официальные допросы. В качестве свидетелей было привлечено 50 офицеров и около 600 солдат.

Для допроса многочисленных свидетелей в разные места выехали члены Комиссии военного суда с «вопросными пунктами», заготовленными Сабанеевым.

Перед Комиссией особенно усердствовал юнкер Суцов, которого инструктировал лично Сабанеев. Когда по какому-то пункту не доставало обвинения, он срочно вызывал Суцова, и тот давал дополнительные показания. Возили Раевского и на очные ставки.

В поисках обвинительных материалов против Раевского следствие обратилось к священнику 32-го егерского полка Данилу Луциевичу, который незамедлительно откликнулся: «Честь имею донести, что беседу я имел с майором Раевским во время бытности его командиром 9-й егерской роты при исповедании мною нижних чинов. Он, майор Раевский, завел было разговор со мною насчет равенства всех человеков, строго уверяя, что все подчиненные — друзья, и что скоро уничтожится деспотство... По обязанности моей хотел я и старался моими пасторскими наставлениями вывести его из заблуждения и доказать священными словами, сколь пагубно оспаривать законы... и сколь незаконно перед богом неповиновение верховному начальству и ведение безумных аксиом... Но он, майор Раевский... хотел уверить меня, что исповедь, установленная в православной греко-российской церкви, вовсе не только для него, но и никому не нужна. Исповедоваться не захотел, который и отмечен поданной мною... обер-священнику исповедной росписи...»

К 20 февраля следствие подошло к концу, и Раевскому была оглашена «Выписка» из его дела, в которой изложено обвинение. Раевский внимательно изучил «Выписку», написал протест, в нем опрокинул показания многих свидетелей и отверг приписываемое ему обвинение похвалы Семеновского полка. «Вовсе не отрекаюсь, чтобы я совсем не говорил (и кто тогда об этом происшествии не толковал), — писал он, — но из показаний офицеров, которых нельзя укорить в

расположении ко мне, явствует, что я не распространялся ни хулою, ни хвалою...»

Против показания Суцова Раевский отмечал, что «он (Суцов. — Ф. Б.) все написал в болезненном припадке, то есть в сумасшествии, под предлогом коего избавлен от наказания за побег из полка, сверх того, Суцов был во все сие время под судом».

Раевский подробно описал, как собирались на него свидетельские показания:

«Подпоручика князя Вяземского за то, что последний не согласился подписать ложные показания, Сабанеев послал на гауптвахту с угрозами, что он «пробудет там три года». Вяземский три месяца находился на гауптвахте».

Генерал Сабанеев собственноручно «бил рядового 1-й егерской роты до того, что он весь окровавленный вышел из его спальни». Во время допроса Сабанеев также избил унтер-офицера 9-й егерской роты Колесникова и рядового Шеловского. За отказ показывать против Раевского разжаловали из офицеров в рядовые офицера Ревазова.

Однажды в присутствии Раевского давал показания против него юнкер Чернолуцкий, плохо выучивший то, чему учил его Сабанеев. Раевский попросил Чернолуцкого повторить показания. Свидетель повторил: «Вы говорили, что Вашингтон писал разные стихи против французского короля и, когда ехал через Мадрид, ему бросали цветы».

— Вот как он слышал! — сказал Раевский.

— Замолчите! — потребовал Сабанеев.

Судьба Орлова, как и всего Южного тайного общества, была целиком в руках Раевского. Стоило ему только дрогнуть перед судом, и тогда общество было бы раскрыто.

Пестель и его ближайшие помощники были настороже, хотя и верили в добропорядочность и мужество Раевского. Вскоре на волю, к друзьям, полетело стихотворение Владимира Федосеевича, в котором были слова заверения:

*Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпением мраморным сносил,
Нигде себе не изменил.*

Следствие продолжалось. Сабанееву так и не удалось получить от Раевского нужных показаний, о чем он с досадой доносил Киселеву: «Раевский во всем запирается и на каждый вопрос пишет преобширные диссертации».

Генерал Орлов в связи с делом Раевского был отстранен от командования дивизией и по приказу царя «состоял при армии». Отвечая на вопросы Комиссии, он писал, что лучшего по образованию и строгости педагога в дивизии не было. «Раевский был для меня находка, и я им дорожил».

Папка с многочисленными материалами следствия была отправлена главнокомандующему 2-й армии генералу Витгенштейну.

Главнокомандующий, как обычно, находился в своем имении. Первым ознакомился с материалами генерал Киселев, которого больше всего интересовали показания Раевского в отношении генерала Орлова. Киселев внимательно все просмотрел и, не найдя никаких компрометирующих материалов на своего друга, хотя он уверен, что такой материал мог бы быть, про себя сказал:

«Что бы ни говорили, а Раевский порядочный человек».

В Петербурге ждали окончания следствия над Раевским. Этим интересовался лично император, но пока результатов не было, генерал Витгенштейн, как обычно, докладывал туда об успехах дивизий. При последнем донесении он выделил 16-ю пехотную дивизию лучшей. Когда донесение было в пути, генерал спохватился: дивизией командовал Орлов. Почесал затылок старый генерал и мысленно вину за опрометчивость возложил на начальника штаба.

Наконец следствие было закончено. В штабе армии быстро его изучили и, составив выписку из него, специальным фельдъегерем отправили в Петербург. В Петербурге работали более оперативно, и вскоре в Тульчин прибыло царское повеление:

«Господину главнокомандующему 2-й армии. Отношения Вашего сиятельства от 7 июня с выпиской из дела и прочими приложениями, относящимися до непозволительных поступков 32-го егерского полка майора Раевского, имел я счастье представлять государю-императору и вследствие сего благоугодно было его величеству повелеть:

во 1-х, майора Раевского за обнаружение Следственной комиссией, при 6-м пехотном корпусе учрежденною, законопротивные его действия предать военному суду с тем, чтобы оный наряжен был при том же 6-м корпусе в г. Тирасполе под наблюдением самого генерал-лейтенанта Сабанеева, поручив ему иметь собственный надзор как за правильным и строгим производством такого суда, так и за непродолжительным его окончанием... Со всех прописей, употреблявшихся в ланкастерской школе, бывшей под ведением майора Раевского и хранящихся, как он показывает, при полковом цейхаузе, доставить один экземпляр ко мне для представления государю-императору...»

Отстраненный от командования дивизией Орлов находился в Киеве, откуда в ноябре 1822 года писал Вяземскому:

«...Дело мое идет и продолжается. Чужие края и отечество наполнились страшными слухами, и посреди общего вранья трудно постичь настоящий ход дела. Об оном я распространяться не буду, но вообрази себе собрание глупой черни, смотрящей на воздушный шар. Одни говорят — это черт летит, другие — это явление в небе, третьи — чудеса и пр. Спускается баллон, и что же? Холстина, надутая газом. Вот и все мое дело... Теперь я спокоен и надеюсь, что те, кои с первого маха хотели меня сбить с ног, ушиблись сами о меня и кусают себе пальцы...»

Оптимизм Орлова продолжался до 14 декабря, то есть до тех пор, пока на Сенатскую площадь не вышли восставшие полки.

Гавриила Батенькова ошеломило известие: его друг Владимир Раевский посажен за «смелое вольнодумство». Вращаясь в кругах, близких к Аракчееву, Батеньков жадно ловил крупницы известий о друге, глухо доходившие до него.

А в 1825 году он прослышал, что следствие над Раевским подошло к концу. Батеньков считал, что при любом исходе дела Раевскому Сибири не миновать. Вот и решил он написать письмо бывшему своему сослуживцу и приятелю Аргамакову в Томск. «Может быть, известный тебе В. Ф. Раевский будет проезжать через Томск, поручаю и прошу тебя снабдить его деньгами и всем, что для него нужно, а я рассчитаюсь с тобою...» Здесь блестяще подтвердилась старая народная мудрость: «Друзья познаются в беде». Но, как известно, Раевского везли в Сибирь не в 1825 году, а тремя годами позже, когда уже сидел в камере-одиночке сам автор письма. Во всех городах, через

которые проходил маршрут Раевского, его встречало местное население дружелюбно, но особенно запомнилась ему встреча в Томске. «...Аргамаков, сын бывшего почтмейстера, отозвал меня в сторону, — вспоминал Раевский, — вынул письмо и подал мне, я тотчас узнал почерк Батенькова, моего Товарища и друга. Все изменилось, — сказал я. — Этот любимец и сотрудник Сперанского и самый близкий и доверенный человек Аракчеева так же, как и я, посажен в крепость и, может, проедет здесь...» Батеньков действительно попал в Томск, но только после двадцатилетнего одиночного тюремного заключения. Теперь Аргамакову пришлось помогать самому автору письма.

Генерал Киселев как личный друг генерала Орлова всячески старался обеспечить безопасность последнего. Для этого он пожелал убедиться, насколько Орлов замешан в деле Раевского. С этой целью Киселев приехал в Тирасполь. Кроме того, у Киселева было тайное поручение самого императора, сообщенное ему в письме начальника главного штаба. В крепость Киселев прибыл без сопровождающих лиц, и в камеру к Раевскому вошел один.

Вначале Киселев спросил Раевского о состоянии здоровья, а затем перешел к главному:

— Владимир Федосеевич, здесь четыре стены, скажите, пожалуйста, генерал Орлов был в курсе тех прописей, которые вы давали своим учащимся?

Раевский встал.

— Нет, нет, вы сидите, — махнул рукой генерал.

— Ваше высокопревосходительство, генерал Орлов ничего не знал о моих прописях, более того, когда ему донесли о них, он вызвал меня и сильно разгневался, заявив, что я не буду иметь в его дивизии батальона, пока не исправлюсь совершенно. Я должен вам сказать, ваше превосходительство, что если бы генерал Орлов

был действительно в чем-нибудь виноват, я и тогда не перестал бы его уважать, как уважают его все господа, кроме корпусного командира Сабанеева.

Такой ответ, видимо, вполне удовлетворил Киселева потому, что он хотел помочь своему другу и даже в письме к дежурному генералу Закревскому писал в Петербург, что Орлов иногда действовал ошибочно, но и «Лимон» (Сабанеев) всю желчь свою излил на Орлова, я старался примирить петухов, но не успел... Я боюсь за исход дела, ибо каким образом оправдается он за вверенные учебные заведения первому вольнодумцу в армии...»

К концу беседы Киселев перешел к главному:

— Владимир Федосеевич, — притихшим голосом начал он, — я имею поручение лично от его императорского величества спросить вас, какой тайный союз существует в России, и если вы откроете ему, то немедленно вернут вам шпагу. Император дарует вам свою милость.

Раевский возмутился, он вскочил и, покрасневший от возмущения, уставился на генерала:

— По какому праву вы, ваше высокопревосходительство, считаете меня низким человеком? Разве я могу продать за шпагу свою честь и совесть?

— Успокойтесь, успокойтесь, Владимир Федосеевич. может быть, я не совсем правильно изложил поручение императора, но вы сами понимаете, что сие дело очень деликатное и... — Киселев сам смутился, не нашел, что сказать, а Раевский тем временем продолжал:

— Ваше предложение, если бы я действительно принадлежал к тайному обществу, поставило меня в необходимость молчать.

Киселев поспешил прервать неприятный разговор, спросил:

— Вас здесь ни в чем не ущемляют?

— Иногда забывают на прогулку выводить, ваше высокопревосходительство.

— Хорошо, я распоряжусь впредь не допускать этого. Будут специально назначены для этого офицеры...

После ухода Киселева Раевский еще долго не мог успокоиться. Он то быстро шагал по камере, то молча сидел, обхватив голову руками. И только после вечерней прогулки успокоился, продолжая писать «Певца в темнице».

*...Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе.
И вера, щит царей стальной.
Узда для черни суеверной,
Перед помазанной главой
Смирят разум дерзновенный.*

Было уже за полночь. Раевский лег в постель, но уснуть не мог, через несколько минут встал с постели, зажег свечу, и на бумагу леглп строки:

*К моей отчизне устремил
Я, общим злом пресытясь, взоры,
С предчувством мрачным спросил
Сибирь, подземные затворы...*

*Тираспольская крепость. 28 марта 1822
года*

Это стихотворение, как и многие другие, ходило в нелегальных списках и только в 1861 году было

опубликовано за границей. Ошибочно оно было приписано Рылееву, и только в 1890 году «Русская старина» открыла имя подлинного автора.

После проведенных расследования и дорасследования 6 сентября была создана Комиссия из семи офицеров для суда над Раевским. Все члены Комиссии состояли в подчинении генерала Сабанеева. Инструкцию для суда тоже составил Сабанеев. Председателем суда назначен подполковник Албычев. Он относился к числу офицеров, о которых говорят «ни рыба ни мясо», такой председатель вполне устраивал Сабанеева, но подполковник не оправдал его надежд, он никак не хотел идти на поводу у Сабанеева, что дало повод последнему так охарактеризовать его в письме к Киселеву:

«Вы хотите знать, что за птица Албычев и может ли он быть членом полкового аудиториата?.. Он здесь в суде над Раевским (где я бываю всякий почти день) сидит и молчит. Следовательно, ничего более сказать не могу, как человек скромный! В полку, по свидетельству дивизионного и полкового командиров, человек бесполезный».

Сабанеевская «Инструкция» для суда была просто указанием, как вести дело, что спрашивать. По отдельным вопросам он решил сам спрашивать Раевского в присутствии Комиссии. Словом, это была не инструкция, а сценарий. Так, «Отделение седьмое — о разговорах с нижними чинами на счет мой. По первому пункту сего отделения надлежит допросить карабинера Кузьмина, зачем приходил он к Раевскому, а Раевского — спросить, какую надобность имел он завести обо мне разговор с солдатом». Подобная «Инструкция» никакими положениями не предусматривалась, являлась вымыслом Сабанеева. Он опасался, что без инструкции Раевский запутает суд, уведет его в сторону от главного дела.

Для допроса многочисленных свидетелей в разные места выехали три члена Комиссии военного суда с «вопросными пунктами», заготовленными тоже Сабанеевым.

21 марта 1823 года суд закончился, и Комиссия объявила Раевскому свою Сентенцию. Обвинение состояло из шести пунктов, называемых отделениями. «...По первому отделению — что он, имея в своем заведовании полковую ланкастерскую школу, внушал нижним чинам непочтительность к начальству... кроме печатных Гречевых прописей, ввел рукописные свои сочинения, поместив в них слова: свобода, равенство и конституция. Позволял нижним чинам употреблять для чтения журнал о политических происшествиях. Будучи в полку, разговаривал часто не только с офицерами но даже и с посторонними лицами о свободе, вольности, конституции и тому подобном, внушая первым о каких-то притеснениях правительства и о деспотических оною действиях...

По второму отделению — хвалил как офицерам, так и нижним чинам проступок, сделанный Семеновским полком, называя тех солдат «молодцами», и говорил при том: «Вот как должно защищать свою свободу и честь, и если один тиран покажется, выдьте десять человек вперед и, уничтожив одного, спасите двести».

По третьему отделению — обращался с нижними чинами фамильярно, то есть целовался с ними... Телесное наказание, делаемое нижними чинами, называл варварством, говоря, что кто нижних чинов наказывает, тот злодей и тиран, и даже выправку солдат считал тоже тиранством...

По четвертому отделению — описывал нижним чинам какое-то возмущение, бывшее в Вознесенске, и приглашал их за Днестр к означенному городу, присовокупляя, что один шаг за Днестр, и все вспыхнет и восстанет.

По пятому отделению — во время управления его дивизионною юнкерской школою рассказывал офицерам о разных происшествиях в 32-м егерском полку... что якобы того же полка двенадцать человек рядовых, при ефрейторе, из учебной команды перешли за Дунай и, переправляясь на ту сторону, ознаменовали свободу свою ружейными выстрелами... О правлении говорил, что правление конституционное лучше всех правлений, особенно нашего, которое хотя и называется монархическим, но управляется деспотизмом. В поэзию поместил отрывки и заставлял учить наизусть стихи, в коих либеральные мысли господина Раевского совершенно обнаруживаются...

По шестому отделению — по письмам майора Раевского к капитану Охотникову хотя Комиссия ничего не может сказать решительного, однако же не только он, господин Раевский, но даже и тот, к кому они писаны, весьма сильно подозреваются в какой-то тайной между ними связи...

Комиссия приговорила: лишить живота, взыскав с него издержанные на прогоны деньги, всего тысячу семьсот шестнадцать рублей четыре копейки для пополнения тех сумм, из коих они позаимствованы.

Заключен в Херсонской губернии в г. Тирасполе.

Марта 21 дня 1823 года.

Обер-аудитор Бобышев».

А ниже подписи всех членов Комиссии.

Обер-аудитор Бобышев как-то невнятно читал Сентенцию, а после прочтения долго кашлял и наконец обратился к Раевскому:

— Все ли вам ясно?

— Мне предельно ясно, что Комиссия допустила нарушение законов и все изложила в превратном свете. Я протестую, а посему позвольте мне копию Сентенции.

Бобышев закашлялся, посмотрел в сторону Сабанеева, сидевшего у окна. Генерал дал знак рукою,

что пора закругляться. Для обвинения Раевского, согласно существующему Наказу Екатерины II, достаточно было двух человек. «Винить двумя свидетелями», но Комиссия не приняла во внимание «Указ воинский» Петра I, где предписывалось в качестве свидетелей использовать «добрых и беспорочных людей». Свидетели же против Раевского ни в какой мере не отвечали этому требованию, более того, они были всем известны как отъявленные мерзавцы.

Раевского привели обратно в камеру. Он тяжело опустился на табурет, обхватил голову руками, долго неподвижно сидел, обдумывал случившееся. «Меня присудили к смертной казни, — думал он, — сумею ли доказать свою невинность, опрокинуть версии обвинителей? Да, я это докажу... Спасибо друзьям, что доставили мне «Устав воинским» и другие законоуложения. Они мне сейчас понадобятся...»

Сабанеев боялся протеста Раевского, потому что все нарушения, допущенные судебной комиссией, были сделаны по его указанию, а если поступит протест, начнется дополнительное расследование, которое поставит его в неловкое положение. А посему он решил тут же объявить Раевскому свое мнение, надеясь, что тот останется им доволен и протестовать не станет.

«...Раевского, как вредного для общества человека, удалить от одного в Соловецкий монастырь или другое какое место, где бы вредное распространение его образа мыслей не могло быть поводом к нарушению спокойствия, если же приводимые против Раевского свидетельства признаются к обвинению его недостаточным, в таком случае полагаю: как чиновника, впадаемого в подозрение столь важное, удалить от службы и иметь его под строгим надзором полицейским».

Сабанеев почти был уверен, что, прочитав его заключение, Раевский безропотно согласится с ним.

Судебное дело Раевского было отправлено главнокомандующему 2-й армией для утверждения, но, прежде чем утвердить, генерал приказал передать дело Полевому аудиториату армии на ревизию.

1 сентября 1823 года Раевский подал «Протест», в котором полностью разоблачал свидетелей, показавших против него. Главный свидетель юнкер Суцов, который почти всю свою службу содержался на гауптвахте, дважды бежал из армии. Однако Сабанеев его не наказывал, счел побег за меланхолию, а за лжесвидетельство даже приласкал его. Под статью Суцову были другие свидетели — поручик и юнкер братья Михаловские. Первый даже за грабеж и драку был лишен командования ротой. Второй за пьянство и другие «шалости» был выгнан из корпусной школы. Разоблачая и других свидетелей, которые запятнали свою честь, Раевский спрашивал: «Могут ли те люди дорожить присягою, кои никогда не дорожили своей честью и совестью? Можно ли, опираясь на них, решать участь и жизнь офицера, не покрытую ни одним худым поступком?»

К другим свидетелям применялись прямые угрозы. Это хорошо знал Раевский и пункт за пунктом полностью опроверг обвинение, показав его несостоятельность, а также нарушение законов, допущенных следствием и судом. Протест заканчивался словами:

«Высшему начальству, конечно, неизвестно, под каким жестоким арестом находился я здесь: мне запрещено было всякое сообщение и разговор с каким бы то ни было лицом в продолжение 19 месяцев... Двойной внутренний и наружный караул охранял меня... Я служил государю и отечеству 11 лет, видел войну, выслужил чины и отличие военным трудом и

ревностью... Мне позволено оправдываться, и потому, безбоязненно излагаю кратко ход моего дела, я прошу покорнейше высшее начальство внять гласу, просящему не пощады и милосердия, а правосудия».

Сабанеев перед тем, как отправить «Протест» в штаб армии, самым тщательным образом изучил его. Распределив текст «Протеста» на 98 пунктов, он написал свои замечания на отдельных листах. «Протест» по существу своему, кроме всего прочего, был обвинительным документом против самого генерала Сабанеева, организовавшего суд над Раевским и допустившего очень много нарушений юридических.

Потом Раевский решил, что еще не все сказал в «Протесте», и на двадцати страницах написал «Дополнение к протесту».

«...Меня уличают в образе мыслей, в словах большею частью двусмысленных или вовсе не имеющих никакого смысла, и, распространяя дело одним подбором слов, не деяний... Командую ротою:

Я содержал солдат лучше других.

Не пользовался их провиантом, как другие.

Не требовал от них работ.

Взыскивал по законам, а не по прихотям своим.

Словом, обходился справедливее других.

Офицерам, закоснелым в ложных правилах, поведение мое казалось новым, бескорыстие — подрывным и вредным примером... Вот почему распускали они слухи...»

Пункт за пунктом Раевский дополнительно опротестовал многие обвинения, а в конце сделал вывод, что:

«В силу 3-й части, главы 2, пункта 6 «Процессов воинских» приговор мой недействителен, ибо оный нагло против прав есть».

«Дополнение к протесту» Сабанеева сильно встревожило. В письме Киселеву от 16 ноября 1823 года

он писал:

«Одна чума за Прутом под сомнением, а другая у меня под глазами — это Раевский. Нельзя ли, почтеннейший отец и командир, сделать мне величайшее одолжение — избавить от этого человека. Не все ли равно, где он будет содержаться — в Тульчине или Тирасполе? В Тульчине тем лучше, что он имеет какую-то надобность объясняться с аудиторами. Черт его возьми! Пиши он, что хочет, лишь бы мне не быть под сомнением, и поэтому надеюсь, что все кляузы, какие по злобе вздумает на меня взвести Раевский, будут мне известны, дабы я мог оправдаться в свою очередь. Хотя и больно мне оправдываться по клевете на меня Раевского, который, разумеется, что только может выдумать на меня будет, но делать нечего...»

Теперь Раевский выступает как бы в роли обвинителя. Это почувствовал старый генерал.

Аудиториат 2-й армии, изучив дело Раевского, присланное ему на ревизию, 5 января 1824 года представил доклад генералу Витгенштейну, в котором отмечалось:

«Полевой аудиториат находит, что о майоре Раевском по произведенному над ним военному суду положительного приговора сделать не может, основываясь на нижеследующим...» Далее подробно перечислены все нарушения, упущения и отступления «от узаконений и постановлений, сделанных как генералом Сабанеевым, так и военным судом». Аудиториат приговор, объявленный Раевскому, признал недействительным.

Теперь начал объясняться генерал Сабанеев. 6 февраля 1824 года он объяснял причину, почему Раевский не подписал выписку, так: «Не знаю, какие бы средства употребил аудиториат довести преступника

до того, чтобы он подписал выписку, особенно такого преступника, каков майор Раевский...»

Окончательное решение вопроса о Раевском ждали в Петербурге. 6 февраля 1824 года главнокомандующий 2-й армией генерал Витгенштейн на имя начальника Главного штаба генерала Дибича донес, что следует согласиться с мнением корпусного командира, то есть «удалить его, Раевского, в такое место, где бы он, не имея с другими сообщений, не мог распространять вредных ему внушений... Из лиц, к делу прикосновенных, генерал-майор Орлов удален от дивизии и состоит по армии... Капитана Охотникова, бывшего в тесных связях и переписке с майором Раевским, находящегося ныне в отставке, иметь под надзором полиции и впредь никуда не определять. Доктор Диммер и гвардии капитан Мясоедов заперлись, что о кольцах ничего не знают... как здесь нет никакой возможности открыть столь темное дело, то полагаю, что для сего употребить можно тайные разыскания...»

Все разговоры начальства и переписку по своему делу он узнавал от членов союза при тайных встречах с ним. Даже главнокомандующий был удивлен осведомленностью Раевского. В письме к полевому аудиторiatу армии он упомянул об этом:

«Причем заметить должно, что весьма странным представляется известность сокровеннейших обстоятельств ему, Раевскому, по производству суда и почему».

Как только Дибичу был доставлен доклад главнокомандующего 2-й армией, он просмотрел его и, отложив все текущие дела, отправился к императору. Александр I читать бумаги не стал, велел Дибичу кратко изложить суть дела. Дибич был готов к этому; однако он непрерывно поглядывал в доклад Витгенштейна и местами цитировал отдельные фразы из него.

— Удивительное дело, — заметил в конце император, — два года вели следствие и ничего не установили. Видать, этот майор намного умнее седого, выжившего из ума Сабанеева. Граф Витгенштейн тоже хорош, он, видите ли, предлагает согласиться с мнением Сабанеева и на том поставить точку. Мне помнится по прежнему докладу графа, у Раевского были обнаружены какие-то противозаконные прописи, что же о них ни слова?

— Простите, ваше величество. О них я не доложил, здесь сказано, что... — Дибич дрожащими руками быстро нашел нужное место в докладе, прочитал: — «Долгом считаю присовокупить, что требуемого вашим превосходительством для представления его высочеству полного экземпляра прописей, употребляющихся в ланкастерской школе, бывшей под ведением майора Раевского, при сем не прилагается потому, что поручиком Таушевым, которому, как выше сказано, велено было принять их, оставлены были только печатные таблицы Греча, нисьменные прописи отданы служителю капитана Охотникова, который отправил оные в свою деревню, куда Охотников хоть и ездил за ними, но представил только некоторые из оных, ничего особенного в себе не заключающие».

— Довольно! — резко оборвал чтение император. — Ротозеи! Настоящие ротозеи, из-под рук выпустили вещественные доказательства. Были прописи, и нет прописей! Убежден, что заодно с Раевским там действует, много его сообщников. И очень печально, что Раевский и его сообщники, видать, намного умнее Сабанеевых...

Возмущенный случившемся во 2-й армии, император молча ходил по кабинету, обдумывая решение, тут же распорядился:

— Письмо сие направить дежурному генералу Главного штаба Потапову, дабы: во-первых, военно-

судное дело о майоре Раевском рассмотреть немедленно во всей подробности в Аудиториатском департаменте в Секретном одного присутствии. Во-вторых, обязать Аудиториат, следуя правилам строгой ревизии, обратить особое внимание не только на противозаконные действия самого подсудимого майора Раевского, но и на всех прикосновенных лиц, более или менее причастных поступкам подсудимого, равномерно рассмотреть общее с делом Раевского и следствие о проступках бывшего командира 16-й пехотной дивизии генерал-майора Орлова... В-третьих, не менее должен Аудиторский департамент взять во внимание... действия самого Полевого аудиториата 2-й армии...

Раевский знал, что его дело с заключением главнокомандующего направлено его императорскому величеству для окончательного решения. И все же он надеялся на оправдание. Ждал, что решение последует незамедлительно. Однако ошибся. Только в конце декабря 1824 года Аудиториатский департамент представил Александру I документ на утверждение. При этом, указав, что Полевой аудиториат должного расследования не произвел и подлежит строгому за это наказанию. Все это время командование 2-й армией волновалось, ему было частично известно решение императора, поэтому главнокомандующий Витгенштейн попросил о выезде за границу для лечения, а начальник штаба армии генерал Киселев хотел уйти от занимаемой должности, но его просьба не была удовлетворена.

Александр I не спешил с принятием решения по делу Раевского, но в июле 1825 года в его руках оказался донос предателя Майбороды из Тульчина о том, что во 2-й армии существует тайное общество, руководимое полковником Пестелем. Посоветовавшись с Аракчеевым, император повелевает вызвать в Петербург главнокомандующего 2-й армией генерала

Витгенштейна и после этого принять решение. Болезнь императора, а затем его отъезд на лечение в Таганрог нарушили его планы. Уже из Таганрога он распорядился, не подымая шума, тихо арестовать Пестеля и препроводить в Петербург, что и было осуществлено за день до восстания декабристов.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ПЕВЕЦ В ТЕМНИЦЕ

*Увы! Куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы...*

А. Пушкин

Первые дни заключения тянулись мучительно медленно и тревожно. Мысль о том, что весть об его аресте принесет необыкновенные страдания больному отцу и сестрам, словно незаживающая рана, острой болью пронизывала все тело, не давала покоя ни днем, ни ночью. Чтобы как-то отвлечься от тяжелых дум, Раевский садился писать стихи. Одно из первых стихотворений «К друзьям в Кишиневе» поражает своим мужеством и убежденностью.

*Итак, я здесь... за стражей я...
Дойдут ли звуки из темницы
Моей расстроенной цевницы
Туда, где вы, мои друзья?
Еще в полусвободной доле
Дар Гебы пьете вы, а я
Утратил жизни цвет в неволе,
И меркнет здесь заря моя!..*

Далее Раевский сообщает, что обвинение не правды ищет, а ложных свидетелей в «толпе презренной». Он помнил, что друзья, оставшиеся на свободе, волнуются и им надо дать сигнал, чтобы они знали, что он никого не предал, ни на кого не указал. Тогда на бумагу легли слова: «Скажите от меня Орлову...»

Это стихотворение, как и стихотворение «Певец в темнице», написанное Раевским в Тираспольской крепости, в списках распространялось в Тирасполе, Кишиневе и даже Одессе. Они стали известны Сабанееву. Он приходил в ярость, пытался найти распространителей, но безуспешно. Стихотворение «К друзьям в Кишиневе» уже через неделю было в Тульчине. Там о нем первым узнал генерал Юшневский и поспешил через нарочного обрадовать Пестеля. Пестель, прочитав слова верности Раевского, сказал, что он в порядочности Раевского не сомневался.

В стихотворении «К друзьям в Кишиневе» Раевский обращается к Пушкину, призывает его к гражданственности.

*...Холодный узник отдаёт
Тебе свой лавр, певец Кавказа;
Коснись струнам, и Аполлон,
Оставя берег Альбиона,
Тебя, о юный Амфион,
Украсит лаврами Бейрона.
Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление, на плаху
И где народ, подвластен страху,
Не смеет шепотом роптать.*

Поэт-узник, обращаясь к прошлому русского народа, к вольнолюбивой новгородской и псковской старине, советовал Пушкину обратить внимание на эти очаги древнерусской свободы и воспеть.

*Пора, друзья! Пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя — народа дух и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече
И сокрушало издалече
Царей кичливых рамена...*

Обращением «Пора, друзья!» Раевский имел в виду друзей по тайному обществу. Он еще верил в возможность революционного восстания.

Это стихотворение Раевский передал для Пушкина через посетившего его в крепости Липранди-старшего.

Как только Липранди возвратился из Тирасполя, Пушкин, зная, что тот навестил Раевского в каземате, сразу прибежал к нему:

— Не томи, душа любезная, говори, как он там?

Липранди рассказал о беседе с узником, а потом достал стихотворение и, подав Пушкину, сказал:

— Это он просил передать тебе.

— Ах, как мне его жаль! Как жаль! — сказал Пушкин и развернул бумагу.

Читал он медленно, некоторые строки повторял дважды, а когда закончил, сказал, что Раевский берет все из русской истории.

В борьбе за свободу Раевскому, как и его единомышленникам, нужен был легендарный герой, и он нашел его в лице Вадима, вождя новгородского восстания.

*Погибли Новгород и Псков!
Во прахе пышные жилища!
И трупы добрых их сынов
Зверей голодных стали пища.
Но там бессмертны имена*

*Златыми буквами сияли;
Богородица жена
Борецкая, Вадим, — вы пали.*

Пушкин быстро ходил по комнате, повторяя:
— Как это хорошо, как сильно!
— Не понимаю, что тебе так понравилось, —
удивленно поднял плечи Липранди.
— Не понимаешь, а вот послушай, — ответил
Пушкин и вслух прочитал:

*Как истукан немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род,
И мысль, и взор казнит на плахе...*

— Как прелестно, как прелестно! Никто еще так
удачно, так сильно не изобразил тирана, ты только
вдумайся: «И мысль, и взор казнит на плахе». А что
скажешь о такой превосходной характеристике
династии: «Бичей кровавый род»?

Липранди молчал. Пушкин порывистыми
движениями сложил листы со стихотворениями, сказал:

— После таких стихов не скоро увидим этого
Спартанца.

Пушкину очень хотелось увидеть Раевского. И такая
возможность однажды ему представилась. Генерал
Сабанеев, встретив Пушкина в доме Инзова, сказал, что
он ему позволяет посетить Раевского, ежели он того
пожелает, но Пушкин, понимая, что за каждым его
шагом идет слежка, понял разрешение Сабанеева как
провокационное. Пушкин не раз садился за ответ
Раевскому;

*Ты прав, мой друг, — напрасно я презрел
Дары природы благосклонной,
Я знал досуг, беспечных муз удел
И наслажденье лени сонной.*

Свой ответ он не закончил и несколько раз возвращался к нему. В черновых набросках есть такие слова: «Недаром ты ко мне воззвал из глубины глухой темницы» и «Не тем горжусь я, мой певец». И там же на полях рукописи поэт сделал два рисунка Раевского, придав лицу особую строгость и целеустремленность. Стихи Раевского получили широкое распространение. В рукописной тетради Кюхельбекера за 1824–1825 годы, жившего тогда в Москве и Петербурге, наряду с другими выписками из интересовавших его сочинений есть строки Раевского, где он призывает Пушкина «оставить другим певцам любовь».

Однажды Раевскому принесли в камеру гневное письмо от отца — он поверил в виновность сына и упрекал его за то, что он опозорил всю фамилию Раевских.

«Кто скажет отцу, что я прав, что не позор, а честь принес семье?» — думал Раевский.

Многие, кто знал майора Раевского, переживали за него и желали хоть чем-то облегчить его участь. Кто-то из тульчинских его друзей послал отцу Раевского письмо о том, что его сын Владимир ни в чем не виновен. Вскоре из Старого Оскола пришло письмо Владимиру, правда, его на почтовой станции перехватили и вручили Сабанееву. Какой-то доброжелатель извещал:

«Батюшка Ваш получил из Тульчина без подписи письмо, в нем Вас оправдывает и, как безвинно судимом, советует просить милости государя или главнокомандующего. Но батюшка Ваш в большом

беспокойстве, чтобы не сделать Вам этою просьбою чего-нибудь хуже. Я же по преданности моей и усердию к Вам решился Вас о сем уведомить, и буде сие послужит Вам некоторым облегчением, то уведомите скорей Вашего батюшку».

Отец так и не понял сына, он до последних дней был убежден в его виновности.

В начале июля 1823 года Пушкин поехал в Одессу для «лечения морскими ваннами». В Одессе он встретился с вновь назначенным новороссийским генерал-губернатором и уполномоченным Бессарабского края графом Воронцовым и от него узнал, что «переходит под его начальство». И тут же написал брату Льву: «Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман... Я насилу уломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу — я оставляю мою Молдавию и явился в Европу. Приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе — кажется, и хорошо — да новая печаль мне сосала грудь — мне стало жаль моих покинутых цепей. Я приехал в Кишинев на несколько дней... и выехал оттуда навсегда, — о Кишиневе я вздохнул».

Знакомых, приезжавших из Кишинева, он осторожно спрашивал, что им известно о Раевском, но всегда получал один и тот же ответ: «Арестант!»

В небольшой, тихий, зеленый городок Тульчин, что на Подолии, принадлежавший графу Потоцкому, в котором находился штаб 2-й армии, пришла весть, что сам император Александр I собирается приехать для инспектирования армии. Новость всколыхнула не только военных, но и гражданских чиновников.

Полки двух корпусов, составляющих 2-ю армию, разбросанную по многим губерниям, начали подтягиваться поближе к Тульчину. Местные власти

торопились привести в порядок дома, заборы, дороги. Командующий армией генерал Витгенштейн оставил свое имение, в котором постоянно жил, и выехал в Тульчин. Вместе с начальником штаба генералом Киселевым, назначенным лично Александром I, часами обдумывали процедуру встречи и приема государя.

Объезжая полки, Киселев обнаружил серьезные служебные упущения со стороны командира Одесского полка Мордвинова. Это разгневало генерала, и он в резкой форме сделал замечание Мордвинову, который счел себя оскорбленным и тут же вызвал Киселева на дуэль. Теперь оскорбился генерал. Киселев принял вызов. Дуэль состоялась. И хотя Мордвинову удалось выстрелить первым, он был убит.

О происшествии Киселев доложил начальнику главного штаба, а тот, в свою очередь, — императору. Вовремя доклада в кабинет к императору вошел флигель-адъютант и доложил, что очень плохо чувствует себя императрица. Александр I равнодушно выслушал доклад начальника главного штаба, не сказав ни слова, махнул рукой и отправился к больной жене. Дело Киселева осталось без последствий.

В конце сентября 1823 года в сопровождении многочисленной свиты император Александр I прибыл в Тульчин.

1 октября начался смотр 2-й армии. Колонны полков растянулись на несколько верст. 65 тысяч солдат должны пройти перед императором! По мере прохождения полков царь делал различные замечания. А когда проходил Вятский полк во главе с полковником Пестелем, царь не удержался:

— Отменно! Словно гвардия!

Узнав, кто командир полка, Александр I заметил, что такого от Пестеля не ожидал. В разговор вмешался Витгенштейн:

— Ваше императорское величество, Пестеля свободно можно ставить командующим армией или министром, он везде будет на своем месте.

— Да, у Пестеля, ваше величество, отличная голова и много усердия. Его действительно можно на любом месте использовать с пользой для дела. — подтвердил генерал Киселев.

Император уже располагал данными о вольнодумстве Пестеля и лестные высказывания в его адрес пропустил мимо ушей.

На смотр в Тульчин был приглашен известный всей России герой 1812 года генерал Раевский Николай Николаевич — он находился на трибуне третьим справа от императора. Когда проходила 16-я дивизия, которой в недавнем прошлом командовал Орлов — зять Раевского, император, видимо, чтобы уязвить Раевского, громко бросил: «16-я дивизия — самая скверная!»

Николай Николаевич промолчал, но это была не самая главная неприятность, которую испытал заслуженный герой от коронованных особ.

Через несколько дней после восстания на Сенатской площади были арестованы его сыновья по подозрению в заговоре. Старый и больной, генерал собрался в Петербург, к императору, но сыновей допросили и через несколько дней освободили. Перед тем их позвал к себе Николай I и, обращаясь к ним с укором, сказал: «Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу; но, имея родных и знакомых там, вы все знали и не уведомили правительство; где же ваша присяга?»

Ответил царю Александр:

«Государь, честь дороже присяги, нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй может обойтись еще».

Но все это было потом, а пока после смотра армии начался торжественный обед.

В полукруглом павильоне был накрыт стол на триста человек. На концах павильона разместились музыканты всех полков, а рядом ярусы в три ряда для почетных зрителей.

При первом тосте загремела артиллерия, заиграла музыка. Во время обеда фельдъегерь вручил Александру I письмо от министра иностранных дел Франции. Прочитав письмо, император обратился к присутствующим: «Господа, я вас поздравляю: Риго схвачен!»

Подполковник Риго был одним из вождей испанской революции 1820 года. Им восхищались члены тайного общества. Он в какой-то степени воодушевлял их, и сейчас известие омрачило всех. Пестель молча переглянулся с генералом Волконским. Им жаль было, что дело Риго провалилось.

Король Испании Фердинанд VII в 1823 году был приговорен восставшими к смерти. Тогда спас его Риго, но после победы контрреволюции по приказу короля Риго был схвачен, арестован и на позорной телеге, ослом запряженной, провезен через весь Мадрид и повешен как преступник.

Южное солнце, упираясь лучами в верхушки деревьев, клонилось к закату. Жара спадала, но в камере по-прежнему было душно. Раевский устало ходил из угла в угол, с нетерпением ждал, когда его выведут во двор крепости на прогулку. Начальство считало неудобным приставлять на улице к майору караульного, поэтому для его сопровождения были назначены три офицера, поочередно выводившие его. Шагая по комнате, Раевский время от времени поглядывал в маленькое зарешеченное окошко, теснившееся почти у потолка. С наружной стороны, чуть сбоку от окошка, ниже карниза, было небольшое углубление, в котором гнездились вездесущие воробьи. Каждый раз, задолго до рассвета, они шумно оглашали

наступление нового дня; устраивали побудку узнику. К их веселой трескотне Раевский уже было привык, но однажды утром он не услышал привычного шума, взглянул в окошко и увидел, что в воробьином гнезде был новый хозяин с синевато-черными перьями. Когда туда забрался скворец, Раевский не заметил. «Вот бродяга, выжил младших братьев», — подумал он. Но несколькими днями позже Раевский убедился, что воробьи, судя по всему, пожалели одинокого, старого и, видимо, больного скворца, уступили ему свой домик, а для себя нашли другой. Скворец жил один. Днем он куда-то улетал, а к вечеру опять, почти всегда в одно и то же время, возвращался. Скворец полюбился Раевскому, он мысленно с ним разговаривал, спрашивал, отчего тот одинок. Сегодня прилет скворца задержался. «Где же ты, мой милый Пелисон?» — думал Раевский. А назвал он его так в знак признательности к французскому писателю Полю Пелисону. Тот, будучи в одиночном тюремном заключении, приручил паука.

Раевский уже подумал, что сегодня его Пелисон не прилетит, загрустил, но через несколько минут за окошком промелькнула тень и что-то стукнуло. Раевский бросился к окну: у гнезда сидел скворец, ему явно не хватало перьев. «Что с тобой, мой милый Пелисон?» И пока Раевский сочувственно разглядывал скворца, тот несколько раз пискнул, вдруг вывалился из гнезда и безжизненным комочком упал на землю. Позже Раевский написал:

*Еще удар душе моей.
Еще звено к звену цепей!
И ты, товарищ тайной скуки,
Тревог души, страданий, муки,
И ты, о добрый мой скворец,
Меня покинул наконец!*

*Скажи же мне, земной пришлец,
Ужели смрад моей темницы
Стеснил твой дух, твои зеницы?*

В это время скрипнул замок, дверь камеры растворилась, на пороге впереди караульного стоял офицер Мизевский.

— Пожалуйста, господин майор, на прогулку, — пригласил офицер.

— Ах, как не вовремя вы помешали хорошей мысли, — с досадой сказал Раевский и, положив на стол перо, направился к выходу.

— Надеюсь, что после прогулки, господин майор, она вернется к вам в лучшем виде, — пошутил офицер, пропуская мимо себя Раевского.

За короткое время Мизевский, как и другие два офицера, сопровождавшие Раевского на прогулке, прониклись к узнику чувством уважения. Больше того, они полюбили умного майора, в короткий срок сумевшего открыть им глаза на многое, чего они сами не могли постичь. Теперь они готовы были оказать ему любую услугу.

Офицеров предупредили, что им категорически запрещается что-либо передавать Раевскому, равно как и принимать от него передачи. Сабанеев не разрешал разговаривать с ним во время прогулок.

— Старый дьявол хотел нас запугать, а вы, Владимир Федосеевич, пожалуйста, пишите, что вам угодно и кому угодно, любой из нас отправит по назначению. Сегодня я принес вам интересную книгу, но надобно передать вам так, чтобы никто не заметил, она у меня под мундиром, — сказал Мизевский, постучав пальцем по тому месту, где хранилась книга.

— Спасибо, большое вам спасибо, — поблагодарил Раевский и тут же поинтересовался: — Что сказывают

обо мне офицеры?

— Все, с кем мне довелось беседовать, проклинаят Сабанеева и с большим сочувствием говорят о вас и о генерале Орлове. Нижние чины очень сожалеют, что его отрешили от дивизии. Сказывают, такого, как Орлов, более не будет.

— А вообще, какие новости? — спросил Раевский, улыбаясь, и тут же добавил: — Хотя восточные люди говорят, что самая хорошая новость — это когда нет никаких новостей, но так не бывает...

— Ах да, я позабыл вам сказать, господин майор, что в городе идет молва, будто Пушкин в Одессе влюбился в графиню Елизавету Воронцову, и многие опасаются, как бы ревнивый граф не призвал его к порядку.

— Вот оно что... Зная пылкий нрав Александра Сергеевича, я это допускаю, как и то, что злобный и подозрительный граф не упустит случая расправиться с Сашенькой. Да, вы правы, это добром не кончится. У графа власть, сила, влиятельные друзья, а у бедного поэта одна слава, которую граф ему любыми средствами старается принизить...

Раевский понимал, что пока Пушкин находился под покровительством Инзова, он был вне опасности. Инзов мог защитить, уберечь поэта от любых невзгод, от любых житейских бурь.

Как всегда, время прогулки пролетело очень быстро. Прощаясь, Раевский назвал офицеру, какие книги ему нужны, и попросил любой ценой достать их. Он решил защищаться, а для этого нужен был воинский устав и другие уложения Законов, коими руководствует обвинение. Все, что просил Раевский, ему тайно приносили. «Меня содержали очень строго, но офицеры и солдаты очень хорошо знали, за что и почему я арестован, и поэтому оказывали мне не только уважение, но считали как бы обязанностью услуживать мне во всем. Мои знакомые тайно видались со мною или

в моей тюрьме, или в ночное время за стенами моего заключения. Я знал все, что мне нужно было знать», — рассказывал потом Раевский.

Возвратясь в камеру, Раевский продолжал писать начатое стихотворение о скворце. К двум часам ночи оно было готово.

*Как часто резвый голос свой
Он изменял на звук печальный,
Как бы внимая скорби тайной.
О вы, жестокие сердца!
Сотрите стыд души с лица,
Учитесь чувствам у скворца!
Он был не узник — и к темнице
Летая вольных птиц в станице,
Ко мне обратно прилетал:
Мою он гордость уважал,
Для друга вольность забывал!
И все за то его любили,
И все за то скворца хвалили,
Что он средь скорби и недуг,
И в узах был мне верный друг...*

Предсказание Раевского в отношении Пушкина вскоре сбылось. Воронцов обратился в Петербург с просьбой, чтобы Пушкина как можно скорее убрали в «тихое место», где он нашел бы для себя среду менее опасную и больше досуга для занятий». А пока, до получения ответа, граф предписывал Пушкину выехать в некоторые уезды «собрать сведения о борьбе с саранчой... и проверить результаты принимаемых мер». Чем не командировка для поэта? Пушкин убыл в командировку и, говорят, по приезде составил отчет губернатору о том, что

*Саранча летела, летела,
И села;
Все съела
И вновь улетела.*

Оскорбленный Пушкин потребовал отставки, а 24 июля 1824 года ему было объявлено о «высочайшей воле», согласно которой Пушкин «исключается из списков чиновников за дурное поведение и подлежит удалению в имение родителей в Псковскую губернию под надзор местного начальства».

В жизни поэта Елизавета Воронцова, очевидно, заняла видное место. Тридцать набросков ее лица оставил поэт! Ей он посвятил стихотворение:

*В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать.
Будить мечту сердечной силой
И с негой горькой и унылой
Твою любовь воспоминать.
Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя все, меняя нас,
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас...*

Младший брат Владимира Раевского, семнадцатилетний отставной корнет Григорий, внешне был очень похож на Владимира: такой же коренастый, круглое лицо, густая шевелюра и большие голубые глаза, точь-в-точь как у Владимира. Как-то Федосий Михайлович, глядя на них, в шутку сказал: «У меня пять сыновей, но только Владимир и Григорий братья».

В семье Раевских долго не знали о судьбе Владимира, так как расследование проводилось тайно. Писать письма родным ему запрещалось, да он и сам надеялся вскоре оправдаться, освободиться из-под ареста, а потому не хотел тревожить родных. Однако Федосий Михайлович написал письмо в Тульчин генералу Киселеву, которого знал лично. Новость, пришедшая из Тульчина, потрясла всю семью Раевских. Вначале Федосий Михайлович решил лично отправиться в Тульчин, дабы, как говорят, все узнать из первых рук, но потом передумал. Пять месяцев подряд никаких вестей от Владимира не было. Григорий решил поехать в Одессу или Кишинев и через знакомых отцу офицеров узнать, что случилось с его любимым братом. Отец категорически возражал против такой поездки Григория. От замысла поехать в Кишинев или Одессу Григорий, однако, не отказался. Старшая сестра Александра Федосеевна поддержала его.

Тем временем Александра Федосеевна втайне от отца договорилась с Григорием, что он на короткое время поедет в Одессу, узнает там о судьбе брата и вернется назад. Возникла проблема с подорожной. Два дня Григорий рылся в бумагах отца и отыскал старую подорожную, в которой сделал несколько подчисток, исправил на свое имя, радостно объявил сестре:

— Подорожная у меня имеется, приготовь мне денег на дорогу, да и Владимиру, наверно, стоит послать немного.

— Откуда у тебя подорожная?

— Достал через добрых людей, — слукавил Гриша. Александра Федосеевна собрала Григория и через сутки проводила за калитку, перекрестила, благословила в добрый путь.

В камере было слышно, как на улице стучит дождик, под шум которого прежде Раевский быстро засыпал, но

сейчас не спалось. Уснул на рассвете. И тут же увидел сон: младший брат Григорий стоял на качелях, раскачивая их вверх-вниз, и что-то в такт бубнил. Подошел отец.

— Григорий, я же тебя предупреждал, что веревки старые, детей они еще выдержат, а тебя... Изволь сейчас же слезть.

— Волков бояться — в лес не ходить, — не совсем резонно ответил сын, не послушав совета отца.

Федосий Михайлович ушел в дом. Вскоре туда вбежал слуга и сообщил, что Григорий разбился...

Раевский проснулся взволнованный. Словно наяву увидел во сне окровавленное и обезображенное лицо брата. «А гложет, с Гришей что-то стряслось?» — подумал, стараясь забыть сон. Днем офицер, сопровождавший Раевского на прогулку, заметил, что майор расстроен.

— Вы себя скверно чувствуете, господин майор? — спросил.

— Плохо спал прошлую ночь.

Раевский не сдержался и рассказал офицеру сон. Тот сказал:

— Ежели виделась кровь, так это дурной сон. У моей квартирной хозяйки, господин майор, имеется знакомая старушка, большая мастерица по гаданиям, она также умеет разгадывать самые запутанные сновидения. Ежели пожелаете, то можно послать к ней хозяйку...

Прежде чем ответить, Раевский улыбнулся.

— Мил человек, я не верю никаким гадалкам.

— Господин майор, а во что же вы верите?

— Я верю в судьбу...

Раевский не зря беспокоился о младшем брате. Подъезжая к Одессе, на почтовой станции его задержал пожилой жандарм: подорожная вызвала у него подозрение.

Григория обыскали. Отняли деньги и письмо сестры к Владимиру, наспех допросили и увезли в тюрьму.

— Господа, ради бога, позвольте мне увидаться с братом, я ведь специально столько ехал. А потом хоть расстреляйте, — молил юноша.

Не помогло. О задержании было доложено по начальству. В тот же день фальшивая подорожная лежала на столе Херсонского военного губернатора Ланжерона.

— Одного поля ягодка, — сказал губернатор, узнав, что Григорий родной брат Владимира Раевского, который находится в Тирасполе под следствием.

— Как прикажете поступить? — спросил чиновник.

— Уведомите генерала Витгенштейна, что на связь с подследственным майором Раевским следовал его брат, пусть там решают, а пока допросить, содержать в отдельной камере и никого не допускать. Сегодня же отправить донесение в Петербург...

Впервые в жизни юноша получил сильный моральный удар, ведь он обманул отца. Два чувства боролись в нем: долг перед братом и обман отца во имя этого. Он все время плакал, потом стал заговариваться. В Одессе его долго не держали. Через некоторое время он оказался в Шлиссельбургской крепости. Ничего этого, естественно, не знал и не мог знать Владимир.

Восстание в Петербурге, а затем Черниговского полка на Юге потрясло русскую монархию. Монарх и его прислужники начали по всей стране выискивать и судорожно хватать заговорщиков и их единомышленников, свозя в Петербург, в крепость. Когда уже большинство их томилось в казематах, в Петербурге вспомнили, что в Тираспольской крепости сидит вольнодумец Раевский. Срочно потребовалось установить степень причастности его к восставшим. В Тульчин за следственным делом Раевского был

командирован специальный фельдъегерь; 5 января 1826 года генерал Сабанеев послал к Раевскому в каземат вопросные пункты с небольшим письмом:

«Начальник Главного штаба армии известил меня, что по произведенному исследованию относительно членов общества из показаний некоторых лиц, к оному принадлежащих, видно, что и Вы принадлежите к тому же злоумышленному скопищу, почему по воле г-на главнокомандующего армией приписываю Вам ответить на нижеследующие пункты.

1. Какая цель тайного общества, к которому Вы принадлежали или принадлежите, и какие предположены к исполнению оной?

2. Кто из членов, составляющих то общество, Вам известен лично или по переписке, или только по слухам?»

Еще два вопроса. В последнем Сабанеев спрашивает, кто навещал Раевского в крепости и что представляли эти свидания?

На первые три вопроса Раевский дал отрицательные ответы, а на последний ответил, что приходили рабочие по починке стекла и печки.

Получив письменные ответы Раевского, Сабанеев пи одному из них не поверил, запечатал конверт и нарочным отправил в Тульчин, в штаб армии.

В Петербурге следственным делом Раевского не удовлетворились, потребовали доставить туда самого Раевского. потому что там уже кое-кто из задержанных дал показания, что он состоял в тайном обществе.

Однажды утром, когда в камере еще было темно, Раевский проснулся от скрипа открывающейся двери. С фонарем в руках, в шинели, покрытой снегом, в камеру вошел комендант крепости, подполковник Сирпоти, которого Раевский знал еще прежде.

— Одевайтесь, господин майор!

— По какому случаю?
— Приказано доставить вас в Петербург.
— Это для меня большая честь. Не знаете, по какой надобности?

— Сие мне неведомо.
— В Петербург? — Раевский задумался, собирая свои немудреные вещи. — Говорят, там что-то произошло. Может, вы, господин комендант, имеете какие-то сведения?

— Новый император Николай теперь правит там.
Более десяти суток Раевский был в дороге, и только в первых числах февраля 1826 года его доставили в Петербург.

Первый устный допрос Раевскому учинил генерал Левашов. На столе перед генералом лежала справка: «Полковник Пестель говорит, что 32-го егерского полка майор Раевский принадлежал к Союзу благоденствия прежде объявления об уничтожении оно́го в Москве, но что после того не было с ним никаких сношений... 4. Генерал-интендант Юшневский и полковники Аврамов и Бурцев и майор Лорер, подполковник Комаров показывают, что сей Раевский к тайному обществу принадлежал». Назвав фамилии последних, Левашев спросил:

— Эти лица знакомы вам?
— Да.
— Расскажите все, что вам известно о тайном обществе, к которому вы принадлежите?
— В тайном обществе я не состоял.

Генерал пододвинул к себе справку и, прочитав четвертый пункт, молча уставился на Раевского.

— В тайном обществе я не состоял, и никто не может сие доказать...

На этом допрос прервался: генерала позвали к императору.

Не получив положительных ответов, Левашев приказал отправить Раевского в каземат, куда вскоре последовал священник Мысловский для увещевания.

Ознакомившись с узником, Мысловский передал ему якобы слова государя: «Если бы эти люди спросили у меня конституции не с оружием в руках, я бы посадил их по правую руку от себя».

Священник внимательно глядел на узника, заранее стараясь определить, какое впечатление на него произвело царское высказывание.

Раевский не спешил с ответом. Он сам задал вопрос Мысловскому:

— Скажите, пожалуйста, святой отец, как вам ведомо, сейчас в камерах находится несколько сот тех, кто не просил конституцию с оружием в руках, кого же из них его императорское величество посадил по правую руку от себя?

Мысловский не ожидал такого вопроса, помахал головою, сказал: «Дерзко, дерзко». Больше в каземате Раевского его уже никогда не было.

Сразу после ухода священника ему принесли «Вопросные пункты», на которые он быстро ответил и приступил к составлению своего «Оправдания», которое закончил к 22 февраля.

В каземате стоял тяжелый воздух. Огромной толщины стены, намокшие во время наводнения 1824 года, покрылись зеленоватой плесенью. «Тяжела была жизнь в Петропавловской крепости, — вспоминал потом Раевский. — Тюфяк был набит мочалом, подушка тоже, одеяло из толстого солдатского сукна. Запах от кадочки, которую выносили один раз в сутки, смрад и копоть от конопляного масла, мутная вода, дурной чай и, всего тяжелее, дурная, а иногда несвежая пища, и, наконец, герметическая укупорка, где из угла в угол было только 7 шагов».

На допросы первое время водили после двенадцати часов ночи. На них применялись различные ухищрения, чтобы вынудить признание. «Нас, как собак, усыкали и травили друг на друга, — говорил Михаил Бестужев, — заставляли оправдываться в небылицах, ловили каждое необдуманное слово, всякое необдуманное выражение и, ухватясь за него, путали, как в тенета, новую жертву».

Камера Раевского находилась рядом с камерой декабриста Басаргина. Узникам иногда удавалось перекинуться несколькими фразами.

Раевский находился в 3-м номере Кронверкской куртины. Окно его было против дома, принадлежавшего бывшему коменданту. 13 июля в четыре часа утра он услышал какой-то необыкновенный шум и взглянул в зарешеченное окно, увидел на валу толпу людей возле деревянной платформы, а рядом два столба с перекладиной на них.

«Вслед за тем рота Павловского гвардейского полка вошла в ворота и стала лицом к дому. Через несколько минут въехало двое дрожек. На одних был протопоп Казанского собора, на других — пастор. Они вошли в дом. У дверей дома стояло шесть человек часовых. В этом доме находились, как все это я узнал после, Пестель, Сергей Апостол-Муравьев, Рылеев, Каховский и Бестужев-Рюмин...»

Эту страшную картину казни пяти декабристов, пяти его единомышленников видел Раевский и рассказал потом о ней.

За несколько дней до казни царствующий император, находясь в Красном Селе, говорил, что он в своей конфирмации удивит мир своим милосердием. И удивил!

Среди казненных и сосланных декабристов были друзья Пушкина. Он очень переживал за них. В одной из

черновых строк X главы «Евгения Онегина» он вспоминает места, где жили южные декабристы:

*Но там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина, —
Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли,
Дела иные уж пошли.
Там Пестель... для тиранов
И рать... набирал
Холоднокровный генерал,
И Муравьев его склоняя
И полон дерзости и сил,
Минуты вспышки торопил.*

На очередном допросе генерал Левашов спросил Раевского: почему в его тетрадах конституционное правление названо лучшим? «Конституционное правление, — ответил Раевский, — я назвал лучшим потому, что покойный император, давая конституцию царству Польскому, в своей речи сказал, что дает он им такую конституцию, какую prepares для своего народа». Раевский далее сказал, что в России правление монархическое, неограниченное, а такое правление по-книжному называется деспотическим. Генерал Дибич, сидевший здесь за столом, не дав Раевскому закончить мысль, обратился к членам комитета: «Вот видите!» А потом повернулся к Раевскому: «У нас правление хотя и неограниченное, но есть законы». Раевский начал возражать, но только успел сказать, что «Иван Васильевич Грозный...», как Дибич снова оборвал его: «Вы начинаете от Рюрика». — «Можно и ближе, — не сдавался Раевский, — в истории

Константинова на 82-й странице сказано: «В царствование императрицы Анны, по слабости ее, в девять лет казнено и сослано 21 тысяча русских людей, по проискам немца Бирона...» Раевский сделал ударение на словах «русских» и «немца», что заставило пруссака Дибича, именовавшегося до перехода на русскую службу Иоганном Карлом Фридрихом, вздрогнуть.

Великий князь Михаил Павлович, склонившись над столом, рисовал на бумаге какие-то знаки. Но когда Раевский ответил на вопрос, где он учился, Михаил Павлович поспешил возмутиться:

— Ах, эти университеты и пансионы...

Раевский тут же ответил на замечание великого князя:

— Ваше высочество, Пугачев, как известно, не учился ни в пансионе, ни в университете...

Его высочество нахмурился, снова уткнулся в бумагу.

Старик Татищев, казалось, был занят другим делом. Он не обращал внимания на Раевского, но когда тот сразил своим ответом великого князя, Татищев раздраженно сказал:

— То, что вы извращали умы солдатские, есть истина, доказанная свидетелями.

Раевский взорвался:

— Истиной становится любая ложь, которой все поверили. Такова и сия истина. У нас ложь — характерная особенность власть имущих...

Получив резкий отпор, Татищев не сдавался. Еще раз полистав лежащие перед ним бумаги, спросил:

— Что вы разумеете под словом «патриотизм?»

— Если патриотизм есть преступление — я преступник! Пусть члены суда подпишут мне самый ужасный приговор — я подпишу приговор. Для меня

патриотизм является той таинственной силой, которая управляет мной, — уверенно сказал Раевский.

Больше вопросов никто не задавал.

Великий князь Михаил Павлович, не поднимая головы, косил глазами на Раевского, как бы стараясь запомнить его. И он запомнил. Случилось так, что в конечном итоге император поручил великому князю окончательно решить судьбу майора.

Раевскому завязали глаза и отправили в каземат. Плац-майор, сопровождавший его, видимо, подслушал ответы Раевского, сказал: «Ну, батюшка, я думал, что вам прикажут прикрепить шпоры, то есть кандалы». После этого плац-майор не проронил ни слова; молча довел до каземата и удалился.

Раевский написал подробное «Оправдание», ему не поверили, но по представлению секретного Комитета государь высочайше повелел: «Дальнейшее разыскание по следству, Комитету порученному», прекратить и дело возвратить начальнику главного штаба.

В марте 1826 года Раевский дважды отвечал на «Вопросные пункты», тогда же составил в Комитет просьбу дозволить ему писать родным. «Я еще не писал ни одного раза. В продолжение долговременной моей неволи мне осталась одна сия отрада, разрешение сие, исполненный самой глубокой признательности, приму я как величайший знак снисходительности и милосердия». Получил ответ: «Дозволить один раз писать родным».

Итак, дело Раевского по Комитету прекращено и возвращено обратно в военное ведомство. Дежурный генерал главного штаба Потапов предписал генералу-аудитору направить дело Раевского его величеству цесаревичу Константину для наряда в войсках. Литовского корпуса военного суда над ним, а по окончании представить императору свое мнение.

Раевского со всеми следственными документами отправили в крепость Замостье.

Раевскому объявили волю императора, что если он не «утвердит доказательствами» свое «Оправдание», то будет подвергнут наказанию вдвое жесточайшему.

Такое решение все же несколько облегчило душу узника. Он надеялся, что при очередном, но более беспристрастном разбирательстве дела сумеет доказать свою невиновность. Кроме всего прочего, Раевский надеялся, что ему в чем-то поможет начальник штаба шестого корпуса генерал Курута, который командовал Дворянским полком и хорошо знал Раевского. До отправки в Польшу Раевский несколько раз просил дать ему аудиенцию у царя, но в ней ему было отказано. Раевский был уверен, что в течение часа сумеет доказать императору свою невиновность. Перед этим он продумал, что скажет царю при возможной встрече.

Из Петропавловской крепости Раевский написал прошение Николаю I:

«...Пятый год длится неволя моя, самые воспоминания о сословии, коего уже не существовало, изгладилось из моей памяти... В ответах моих я говорил истину и осмеливаюсь испрашивать улики и доказательства, как милости... Более четырех лет в самой тяжелой неволе ожидал решения участи моей... В темнице моей узнал я о смерти братьев, отца, умершего от печали... Одни холодные стены были свидетелями слез, неисцелимых утрат и страданий узника... Рожденный, может быть, для лучшей доли...»

Император прочитал прошение Раевского и, посоветовавшись с генералом Дибичем, решил сам ознакомиться со следственным делом Раевского. На прошении Раевского появилась надпись императора: «19 апр. 1826 г. Весьма нужное, потребовать

немедленно дела его, ген. — л-та Орлова... из секретного Комитета и доставить ко мне к докладу».

Выполняя повеление императора, из секретного Комитета привезли к нему в кабинет две большие связки с бумагами.

— Что это? — грозно спросил Николай I.

— Следственное дело майора Раевского, — пояснил чиновник.

На лице императора появилось подобие улыбки и тут же исчезло.

— Отвезите все это генералу Дибичу...

Именно тогда-то император решил направить Раевского и его следственное дело в Варшаву для суда при гвардейском корпусе. Тогда же был направлен в Варшаву и Григорий Раевский для одновременного суда с братом.

Великий князь Константин Павлович, получив указание императора, приказал начальнику штаба корпуса генералу Куруте содержать Раевского под строгим арестом в крепости Замостье. А под председательством генерал-майора Дурасова создать судебную комиссию и судить Раевского одновременно с его братом Григорием.

Второго сентября председатель Комиссии военного суда Дурасов донес начальнику штаба, что он приступил к военно-судным делам над братьями Раевскими. С самого начала разбирательства дела Комиссия Дурасова обратила внимание на литературную деятельность Раевского, особенно на его политические трактаты — «Рассуждение о рабстве крестьян», «Рассуждение о солдате». Гражданскую лирику подсудимого Комиссия нашла очень опасной.

Кроме того, Комиссия установила нарушение законов судебной Комиссией, которая работала под надзором генерала Сабанеева. По этому поводу Дурасов

запросил разрешение приехать в Варшаву для личного доклада цесаревичу Константину.

Прибыв в Варшаву, генерал Дурасов доложил Константину Павловичу ход судебного разбирательства. Причем отметил, что рукописи майора «О рабстве» и «Солдате» особенно опасны. А в подтверждение его вольнодумных стихов прочитал:

*Свирепствуй, грозный день!.. Да страшною
грозою
Промчится по в возврат невинных скорбь и стон,
Да адские дела померкнут адской тьмою...
И в бездну упадет железной злобы троп!
Да яростью стихий минутное нестройство
Устройство вечное и радость возродит!..
Врата отверзнутся свободы и спокойства —
И добродетели луч ясный возблестит!..*

В конце доклада генерал заметил:

— Если бы сумели заставить говорить Раевского в начале ареста, то не было бы 14 декабря. Суд в Тирасполе открыл маловажные преступления, а главные были упущены из виду.

У цесаревича тут же возникло желание взглянуть на узника, которого он прежде знал как весьма преуспевающего кадета.

Такая встреча вскоре состоялась. Вот что рассказал о ней много лет спустя сам Раевский:

«Передо мной стоял человек, который отказался от владычества Русской империи... У меня в каземате было одно стуло, я подал его цесаревичу; он сделал знак учтивости и сел.

— Здравствуйте, майор! По какому случаю из Петропавловской крепости вы попали ко мне?

— Ваше высочество, дело мое начато еще в 1822 году, я находился в крепости Тираспольской. Судил меня генерал Сабанеев, он не мог ничего найти незаконного по службе и потому навел на меня политические подозрения, но я не признал ни суда, на конфирмации, не подписал выписки и приговора и протестовал...

— ...Здесь четыре стены, никого нет в этой комнате, я не судья, все, что вы скажете, останется в этих стенах, но говорите правду, как отцу. Я хочу знать дело не из бумаг.

Рассказ продолжался не более получаса, лицо цесаревича прояснилось, он, казалось, был доволен.

— Только-то? Справедливо ли это, майор?

— Ваше высочество, увидите мое дело и за ложь будете иметь право наказать меня.

— Если только, вам опасаться нечего! Но я вижу и знаю, что генерал Орлов во всем виноват, и его надо был повесить одним из первых...»

Тогда Раевскому цесаревич позволил писать письма, по отправлять их через генерала Куруту. Раевский обратился к нему с просьбой разрешить иногда гулять.

«— Нет, майор, этого невозможно. Когда оправдаетесь, довольно будет времени погулять.

— Ваше высочество, здесь хорошо, но... без всякого движения я могу заболеть...

— Да! Да! — подхватил цесаревич. — Вы хотите прогуливаться на воздухе для здоровья, а я думал погулять, то есть в компании. Это другое дело. Гуртиг, — закричал князь, — майору позволено прогуливаться по крепости всякий день для здоровья, ходить в баню и ванны, когда пожелает, и писать к графу Куруте».

Генерал Дурасов, возвратившись от цесаревича, на второй день продолжил судебное разбирательство. Он был убежден, что «Рассуждение о рабстве крестьян» и

«Рассуждение о солдате» написал Раевский, хотя последний настойчиво отрицал это.

На очередном заседании суда Дурасов и члены суда допрашивали Раевского о его литературном творчестве.

— Где вы нашли такой закон, о котором говорите в сочинении, что русские помещики имеют право торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить своих крестьян? — спросил Дурасов.

Генерал намеревался этим вопросом как бы заставить Раевского признать, что сочинения принадлежат ему, но Раевский, разгадав маневр генерала, ответил:

— Автор «Сочинения» не говорит о законе, а он именно спрашивает: по какому праву, откуда взят закон? А то, что помещики торгуют людьми, в подтверждение слов сочинителя, я могу представить много примеров, но позвольте ограничиться несколькими. Покойный отец мой купил трех человек; помещик Гринев продавал людей на выбор из двух деревень; в Тирасполе я знаю таких перекупов, например, доктор Лемоннус купил девку Елену и девку Марию, а капитан Варчастов купил себе девку у майора Терещенко. Я еще могу привести примеры.

— Достаточно, — угрюмо сказал генерал и добавил: — Эти отдельные случаи ни о чем не говорят.

— Если продажа людей возможна, значит, законом это не возбраняется, а посему автор абсолютно прав, написав, что у нас торгуют людьми, — подкрепил свой довод Раевский.

Дурасов спросил членов суда, нет ли у них вопросов к подсудимому, а когда те отрицательно кивнули головами, он, полистав бумаги, спросил:

— У вас здесь написано: «Граждане! Тут не слабые меры нужны, но решительный и внезапный удар!» Что вы под этим ударом понимаете?

— Автор призывает, как я думаю, к внезапному сокрушению существующего правления.

— А как это вы мыслили совершить? — осторожно спросил генерал.

— Полагаю, что автор основную ставку делает на армию, на вольнодумных генералов и офицеров, коим рабство опостылело...

— Ну-с, это уж слишком, — пробубнил генерал и объявил перерыв заседания.

Находясь в ссылке в 1838 году, при встрече с Луниным Раевский вспоминал этот допрос и рассказал ему. Перед тем Лунин закончил письмо сестре своей Екатерине Уваровой в Петербург, оно лежало на столе. Лунин взял письмо и прочитал гостю: «...Познакомлю теперь с моими домочадцами, их много: Василич, его жена и четверо детей. Бедному Василичу 70 лет, но он силен, весел, исполнен рвения и деятельности. Судьба его так же дурна, как и моя, только другим образом. Началось тем, что его отдали в приданое, потом заложили в ломбард и в банк. После выкупа из этих заведений он был проигран... променян на борзую и, наконец, продан с молотка со скотом и разной утварью на ярмарке в Нижнем. Последний барин в минуту худого расположения без суда и справок сослал его в Сибирь».

— Если желаешь, можешь снять копию и послать в подтверждение твоих прежних слов императору Николаю. Сам Василич заверит его отпечатком своего пальца, за неумением писать, — сказал тогда Лунин и указал на старика, вошедшего в дом с охапкой дров.

Это было потом, а пока генерал Дурасов молча слушал ответ Раевского и делал пометки себе в тетрадь, до его ушей долетело замечание одного из членов суда: «Его ничем не уязвишь».

Раевского спросили, чтобы он назвал хотя бы несколько дворян, которые завели у себя серали^[2], о

чем указывается в «Рассуждении», он ответил, что «если Комиссии угодно, чтобы я назвал вместо сочинителя нескольких, то вот они: 1) Курской губернии помещик Дмитрий Васильевич Дятливо содержит сераль; 2) Помещик Синельников так же; 3) Помещик Щигловский так же...»

На каждом заседании суда Раевскому задавали до сорока вопросов.

Судебный допрос Раевского затягивался. Руководитель суда генерал Дурасов был удивлен, почему прежние следственные комиссии так мало интересовались стихотворениями, которые направлены против правительства. От Раевского потребовал объяснить выражения и отдельные слова, встречающиеся в них. «Гражданская искра зажглась». Какой «переворот» и какую «бурю» он подразумевает? Раевский пояснил, что многие стихи написаны в минуты мечтаний и раздумий о судьбах людей, ни в коей мере не относящихся к лицам и времени. В качестве примера привел стих Державина:

*Коль владычество и славу
Коварство будешь присвоить?
Весы, кадило, меч, державу
В руках злодейских обращать?*

Дурасов видел, что разбирательство затягивается, а еще предстояло допросить брата Раевского, поэтому увеличили на несколько часов заседания суда, которые заканчивались поздно вечером.

24 марта Раевский обратился с большим письмом к генералу Куруте, в котором указывал на неверное толкование Комиссией некоторых понятий слов, найденных в его бумагах, а также на то, что некоторые его доказательства Комиссия приняла как дерзкие и

неуместные, и что, «подавая черновые ответы мои неподписанными, я Комиссии тогда же говорил, что, если ей угодно, пусть переменит или даст мне вопросы, кои бы касались и не оскорбляли чести моей, и я дам другие ответы. Генерал отвечал мне: «Хорошо, я посмотрю», но после того, может быть,* полагая, что я учинил предложение сие от робости, не только словесно, но даже в вопросных пунктах угрожал мне начальством...»

«Какая сила на земле отдаст мне цветущие годы жизни моей, кто выплатит мне вздохи и слезы мои?» — думал Раевский, продолжая письмо.

Он решается на все, только бы скорей пришел конец мучениям: «Я дал себе клятву подписать всякий приговор, — пишет он Куруте, — беспрекословно... Следственно, Комиссия должна быть при таковой моей решимости и доверенности не скорою, а осторожною в заключении и признаков вины не принимать за настоящую вину. Участь моя слишком бедственная, чтобы не пожелать какого бы то ни было конца... Мне представлено обширное поле к оправданию, но поле жизни моей так стеснено, что мне весьма нередко приходит на мысль подкрепить все обвинения и просить наказания как милосердия!»

В воскресные дни судебная Комиссия не заседала. В один из таких дней Раевского водили в баню; в бане во время раздевания он обратил внимание на хромого старика, прислуживавшего там. Старик внимательно поглядывал на узника, но не говорил ни слова, ибо это строго запрещалось, он то выходил, то снова появлялся, стучал деревянными шайками, укладывая их в кучу, а потом нечаянно за что-то зацепился, упал, опрокинув к ногам караульного, стоящего здесь, в моечной, шайку с водой. Караульный зло выругался, и, когда он приводил

себя в порядок, старик сунул Раевскому клочок бумаги и удалился.

В камере, как только за ним закрылась дверь, Раевский торопливо развернул мокрую бумажку, с трудом прочитал:

«Пан, рядом с вами в камере сидит ваш брат Григорий».

Это было настолько неожиданно, что Раевский растерялся. Лишенный переписки, он ничего не знал о нем, и вдруг ошеломляющая весть! «Как, когда и за что посадили Гришу? Почему он оказался здесь?» Вопросы, на которые Раевский не мог дать себе хотя бы приблизительного ответа. Неизвестность мучила его, не давала покоя. Все выяснилось спустя два дня. Комендант крепости осматривал тюрьму, и, когда он зашел в камеру Раевского, тот, волнуясь, спросил:

— Ваше превосходительство, мне стало известно, что в крепости находится мой брат, это верно?

— Да, его будут судить вместе с вами.

— Я могу его видеть?

— Нет, пока нет.

14 апреля 1827 года закончен суд над Раевским. В тот же день великий князь донес императору:

«...Суд сей с самого учреждения своего по настоящее время занимался рассмотрением произведенных прежде над майором Раевским как следственного, так и судного дел, отбиранием от него ответов и объяснений, потом соображением их с сими весьма обширными и крайне запутанными делами...»

Далее Константин Павлович отмечал, что суд, которым руководил командир 6-го пехотного корпуса генерал Сабанеев, допустил много «неправильностей и даже противузаконностей». Допросы производились «вынудительно», а главное, отмечает великий князь, что при правильном следствии можно было еще в 1822 году обнаружить злоумышленное общество и тем

самым предупредить известное происшествие в декабре 1825 года. До сих пор остается непонятным, почему великий князь ушел от вынесения окончательного приговора Раевскому, решил деликатно отодвинуть его от себя, осторожно порекомендовал императору, что делать далее: «...Я полагал бы моим мнением: для разбора одного назначить особую Комиссию из лиц, имеющих право войти в подробное изыскание всех без исключения предметов, до кого бы оные не относились...»

Император согласился с мнением Константина Павловича и для окончательного рассмотрения дела велел создать особую Комиссию под председательством генерал-адъютанта Левашева и членов генерал-адъютанта Головина, корпуса жандармов генерал-майора Балабина и других лиц. Комиссия должна была представить свое решение его императорскому высочеству командующему Гвардейским корпусом, младшему брату царя Михаилу Павловичу.

Комиссия не сочла нужным вызывать Раевского, решила рассмотреть все заочно, на основании представленных судебных документов, тем более что генерал Левашов уже прежде был знаком с делом Раевского.

10 октября генерал Дибич представил императору решение Комиссии, одобренное великим князем Михаилом Павловичем, согласно которому майор Раевский лишался чинов, ордена св. Анны 4-го класса, золотой шпаги с надписью «За храбрость», медали «В память 1812 года» и дворянского достоинства, удалялся как вредный обществу человек в Сибирь на поселение...

Император на представлении Дибича написал: «Быть по мнению его императорского высочества командующего Гвардейским корпусом. Николай. Санкт-Петербург, 15 сентября 1827 г.».

Многолетний изнуряющий процесс над майором Раевским наконец был завершен. Пять лет и восемь с половиной месяцев провел он в темнице.

*Прошли в темничной жизни годы, —
И эти каменные своды,
Во тьме две тысячи ночей —
Легли свинцом в груди моей...*

напишет он об этом периоде жизни.

Свыше ста томов следственных дел осталось после Раевского. Тогда же состоялось решение и об отставном корнете Григории Раевском, которого в суд ни разу не вызывали «по замеченному в нем помешательству рассудка, и найдя, что он к делу брата... вовсе неприкосновенен и участником в поступках его и сочинениях ни прямым, ни посторонним образом не был... комиссия полагает: освободить упомянутого корнета Григория Раевского из-под ареста, доставить в имение отца, где и быть ему под присмотром родственников».

Пять лет продержали Григория в тюрьме только по подозрению!

Еще в дороге из Тирасполя в Петербург Раевский узнал от болтливого фельдъегеря, что арестованы Орлов, Фонвизин, Волконский, Юшневский и другие члены тайного общества, а Пестеля еще раньше отправили в Петербург. Там Раевский, возвращаясь с допроса, случайно увидел Батенькова, когда того вели по коридору. «И он здесь», — подумал Владимир Федосеевич. В первые дни заключения Батеньков попросил лист бумаги и перо, сочинил письмо на имя императора: «Государь. Не теряйте напрасно во мне подданного, который может принести много пользы в

возмездие вашего снисхождения... Вина моя в существе ее проста: она состоит в жажде политической свободы». Письмо было доставлено Николаю I, на котором он написал: «Дозволить писать, лгать и врать по воле его». В каземат Батенькову, как и другим арестованным декабристам, принесли «Вопросные пункты», на которые полагалось ответить без особого промедления. Когда все узники дали ответы на вопросы, Батеньков молчал, а на вопрос «почему он молчит?» всегда отвечал: «Я думаю».

Наконец у членов Комитета терпение кончилось. Генерал Татищев послал нарочного к Батенькову с категорическим требованием немедленно возвратить «Вопросные пункты» с ответами. Вскоре были доставлены бумаги. Татищев развернул их. Вопросные листы оказались чистыми, и только на одной странице было написано:

*Здесь взор потухший лишь находит
Пространство в нескольких шагах
С железом ржавым на дверях.
Соломы сгнившей пук обшитый
И на увлажненных стенах
Следы страданий позабытых...
Живой в гробу
Клянусь судьбу
И день несчастного рожденья!*

Доложили императору. «Считать помешанным в уме», — сказал император. Этой версии придерживались два десятилетия. После суда за особое упрямство Николай I не отправил Батенькова на каторгу, как это было решено судом, а упрятал в камере-одиночке «секретной тюрьмы».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«ТАМ ЗА ВЕРШИНАМИ УРАЛА...»

Мы от декабристов получили в наследство возбужденное чувство человеческого достоинства, стремление к ненависти, ненависть к рабству.

А. Герцен

Суд над декабристами закончился в июле 1826 года. Пятерых повесили, оставшихся в живых заковали в кандалы и небольшими группами сослали на каторгу, в Сибирь, а Раевский продолжал сидеть в крепости Замостье. Дело его было отправлено в Петербург для окончательного решения.

Шли последние дни холодного и дождливого ноября 1827 года. В один из них, в десять часов утра, вооруженный стражник вывел из каземата во двор крепости Замостье майора Раевского. Одетый в старую, потрепанную шинель, Раевский с первых минут почувствовал холод.

Во дворе был уже выстроен, в три фаса, польский полк, содержащий караул в крепости. Там же находился весь штат крепостного начальства во главе с комендантом генералом Гуртигом. Раевского вывели на середину. Теперь все взоры были обращены на него. Чуть в стороне стояли комендант, его адъютант и аудитор^[3].

Аудитор достал из папки бумагу и зачитал приговор Раевскому: «Хотя майор Раевский, по удостоверению Комиссии и не принадлежал к составленному после 1821 года злонамеренному обществу и дальнейшее об нем исследование по Комитету о государственных

преступниках прекращено было, но за всем тем собственное его поведение, образ мыслей и поступки столь важны, что по всем существующим постановлениям подлежал бы он лишению жизни, и потому насчет его находя приговор Комиссии не соответствующим обнаруженным преступлением, его высочество (Михаил Павлович) полагал майора Раевского, лиша чинов, заслуженных им ордена св. Анны 4-го класса, золотой шпаги с надписью «За храбрость», медали за 1812 год и дворянского достоинства, удалить как вредного в обществе человека в Сибирь на поселение».

Испытав «прелести» трех крепостей, в которых он провел почти шесть долгих лет, измучившись тоской, изболев сердцем по свободе, сейчас он был доволен: какая ни есть, но свобода. Он не стал ждать, когда с него сорвут погоны, сразу же за прочтением конфирмации сам сорвал их и бросил в сторону.

Жандармский офицер принял Раевского от стражника и повел к повозке, запряженной парой лошадей. Ему предстояло сопровождать его до очередного этапа. В документах теперь Раевский значился как государственный преступник, отправляемый на вечную ссылку.

Подшли к повозке. «Садитесь!» — распорядился жандарм.

Раевский, взволнованно окинув взглядом людей, толпившихся во дворе, как бы прощаясь с ними, подумал о брате, оставшемся в крепости, и только после этого неуклюже залез на повозку, к которой подбежали две женщины и торопливо положили ему на руки свертки. Он не успел разглядеть их лиц и только услышал голос одной из них:

— Вам на дорогу, пан.

Комендант крепости Гуртиг, немец по национальности, перешедший на русскую службу, как и

многие его соотечественники «на ловлю счастья и чинов», грозным окриком потребовал женщин удалиться, а сам поспешил навстречу въехавшей во двор карете, в которой восседал генерал Курута.

Маленького роста, круглый, прозванный в офицерских кругах Шариком, Курута имел намерение зайти в камеру к Раевскому и там попрощаться со своим бывшим любимым кадетом, но опоздал. Прощаться при людях он не пожелал, боясь, как бы это не истолковали превратно. Он только бросил взгляд в сторону Раевского и, что-то спросив коменданта, сказал, что он проездом, и сразу же удалился. Раевский видел Куруту и разгадал его доброе намерение. В душе он благодарил его за то, что тот принял участие в облегчении условий содержания его в крепости Замостье.

Проводив Куруту, комендант подошел к жандарму и вручил ему какую-то бумагу. Раевский, воспользовавшись этим, попросил:

— Ваше превосходительство, позвольте попрощаться с братом, быть может, навсегда.

Комендант притворился, что не услышал просьбы Раевского, и взмахом руки в сторону ворот дал знак жандарму выезжать, а сам направился к дому. Раевский вслед ему громко бросил:

— До свидания, выше превосходительство. Может, еще свидимся. Сибирь велика!

Гуртиг ускорил шаг и, наверное, в душе посмеивался над наивным пророчеством Раевского, не подозревая, что судьба уготовила ему еще более суровую участь: через три года поляки повесили ненавистного им коменданта.

Грохоча и подпрыгивая на кочках, повозка выехала за ворота крепости. Раевский продолжал махать рукою провожавшим его незнакомым людям. Повозка

приблизилась к повороту на большую дорогу, и позади вдруг послышалось требовательное: «Остановитесь! Остановитесь!»

— Остановитесь! — распорядился жандарм. Через минуту к повозке подбежал запыхавшийся офицер и, бросив на руки Раевскому шубу, сказал:

— Вам будет холодно в одной шинели....

Раевский на минуту растерялся. Но тут же спрыгнул с повозки, спросил:

— Кто вы? Как ваша фамилия?

— Подпоручик Коняев. Носите на здоровье!

Глаза Раевского увлажнились. Он обхватил подпоручика обеими руками и дрожащими от волнения губами прижался к его горячей щеке.

— Спасибо вам, большое спасибо! — только и сумел выдавить Раевский. Подкативший к горлу ком мешал говорить. С просветленным сердцем вскочил на повозку и, пока не скрылась фигура офицера, не переставал махать ему рукой.

— Шуба, видать, дорогая, на волчьем меху, — молвил жандарм.

— Да, да, ей цены нет, она для меня дороже миллионов... — И через минуту продолжал: — Богата добрыми людьми земля русская... — Он вслух несколько раз протяжно повторил фамилию офицера «Ко-ня-ев», а потом про себя сказал: «Надобно запомнить!»

В тот же день поздно вечером ночевать остановились в селе в бедной крестьянской хате. Хозяйка забеспокоилась: никакой постели у нее не было. Раевский поспешил успокоить ее:

— Нам привычно и на соломе спать, было бы тепло...

Тусклый свет каганца едва освещал избу. Раевский развернул подарки, полученные от женщин во дворе крепости, начал угощать хозяйских мальчиков трех и пяти лет. Начал играть с ними. Завернул мальчишек в шубу и объявил им, что шуба из волка. От наигранного

страха ребята визжали, а вместе с ними веселился и Раевский. Вечером, когда Раевский раскрывал узелки, он не заметил, как из одного выронил на солому конверт. И только утром, при отъезде, хозяйка подняла его и выбежала на улицу, протянула конверт Раевскому.

Вначале Раевский хотел отказаться от конверта, но тут же сообразил, что он мог быть вложен в один из подарков. Взял конверт, взглянул на надпись на нем и сильно удивился: на конверте было два слова: «Михаилу Лунину». Раевского осенила мысль: «Кто-то из друзей Лунина, зная, что тот осужден на каторгу в Сибирь, послал ему письмо». Жандарм, который был доброжелательно настроен к Раевскому и называл его не иначе как господином, добродушно заметил:

— Еще до места не доехали, а уж письма получаете...

— Да. Видимо, какой-то чиновник узнал, что меня отправляют в Сибирь, решил послать письмо известному купцу Лунину в Омск, так, мол, быстрее. Что ж, доведу...

Лунина Раевский знал. Познакомился с ним в Тульчине. Вспомнил, что во время войны с Наполеоном в 1812 году Лунин просил Кутузова послать его с пакетом к Наполеону; при вручении пакета он намерен был нанести ему смертельный удар ножом, который он специально изготовил для этой цели. Лунин всегда стремился к острым ощущениям. Неоднократно затевал дуэли. На охоте с одним ножом в руках шел на медведя. Не боялся сказать горькую правду в глаза самому императору. Будучи в ссылке, писал сестре: «К полноте бытия моего недостает ощущений опасности. Я так часто встречал смерть на охоте, в поединке, в сражениях, в политической борьбе, что опасность стала привычной необходимостью для развития моих способностей. Здесь нет опасностей. В челноке

переплываю Ангару... В лесах встречаю разбойников; они просят подаяния...»

— Скажите, господин Раевский, омского того купца вы тоже знавали?

— Нет, лично не знал, по делам знаком. Мне о нем покойный отец часто рассказывал, — слукавил Раевский.

Письмо Лунину спрятал подальше в надежде когда-либо передать ему.

Спустя много лет, когда Лунин уже отбыл каторгу и находился на поселении, Раевский посетил его и вручил письмо. Увидев на конверте почерк своей возлюбленной, Лунин заволновался:

— Бог мой, так это же от Натали!

Действительно, письмо было от Наталии Потоцкой, девушки, которая оставила глубокий след в душе Лунина.

Твердый, много переживший Лунин, прочитав письмо, прослезился. Это было единственное письмо от любимой. Что случилось с ней — ни тогда, ни позже он не узнал. В 1840 году в письме к сестре Лунин просит ее раздобыть сведения о Наталие Потоцкой: «Желаю особо знать, что случилось с ней... Сколько раз я о ней справлялся, но ты рассказываешь только о мещанах нашего квартала, которые никому не интересны...»

Лунин и не подозревал, что Наталии уже девять лет не было в живых.

После загадочной смерти Лунина в Акатуе дотошный тюремный чиновник, производя опись имущества покойного, нашел в камере несколько книг на английском и французском языках, образ, когда-то принадлежавший Михаилу Бестужеву-Рюмину, и это письмо на польском языке, которое также занес в опись.

По Сибирскому тракту на каторгу и в ссылку беспрерывно вели арестантов. Летом и зимой, днем и ночью. Одних вели в кандалах, а когда кандалов не хватало, что случалось часто, арестантов привязывали по несколько человек к длинному железному шесту (чтобы не разбежались).

Еще до отправки декабристов в Сибирь, в города, через которые предстоял им маршрут, ушло грозное императорское предупреждение: «Никаких послаблений государственным преступникам в пути». И все же строгость не всегда соблюдалась. «Государственным преступникам» почти везде сочувствовали, многие старались облегчить их нелегкий путь.

Спустя несколько суток Раевского привезли в Московский тюремный замок. Смотритель замка пожилой жандармский офицер в беседе с Раевским сразу проникся к нему сочувствием. Рассказал, что в его замке останавливались четыре офицера Черниговского полка, которых вели на каторгу вместе с уголовниками.

— Вы их случайно не знали? — поинтересовался смотритель.

— Нет, лично не знал, и ничего не слыхал об их делах...

Еще в крепости Замостье, из письма сестры Александры, Владимир Федосеевич узнал, что брат Петр проматывает наследство. Раевский попросил начальника штаба корпуса генерала Куруту возбудить ходатайство перед гражданским губернатором Курска о наложении запрета на часть наследства, принадлежащего ему.

Курута выполнил просьбу. Более того, он дважды писал Владимиру Федосеевичу о том, как решался этот вопрос. Эти письма Раевский захватил с собой. И когда на этапе пытались присоединить его к этапным

каторжанам и отправить вместе с ними пешком, он предъявлял чиновникам письма Куруты, которого все знали как начальника штаба цесаревича Константина, письма неожиданно выручали, отношение к Раевскому изменялось.

В конце февраля Раевского доставили в морозный и заснеженный Иркутск. Привели в дом гражданского губернатора. Губернатор взглянул на Раевского, разговаривать с ним не стал, а велел отправляться в полицию. «В полиции, — вспоминает Раевский, — мне дали особую комнату, где содержались иногда чиновники. Комната была грязная. Клопы и блохи не давали спать. Мне сказали, что я назначен к отправке на Байкал».

Делом Раевского занялся молодой чиновник. Вначале он расспросил Раевского, за что его сослали, а потом развернул какую-то карту и молча долго изучал ее, иногда подымал голову от карты, и его хитрые лисьи глаза пронизывали Раевского. Раевский безошибочно определил, что место его поселения зависит от этого чиновника, который не прочь получить «комиссионные» за выбор приличного места. Сибири Раевский не знал, ему было безразлично, куда отправят. Правда, когда чиновник вначале спросил, где бы он желал поселиться, Раевский попросился в Верхнеудинск.

— Почему? — удивленно спросил чиновник.

— В Верхнеудинске живет на поселении без лишения прав мой знакомый, полковник Муравьев Александр Николаевич, он там городничим.

— В городе поселять вас не велено, — ответил чиновник и, поднявшись от стола, несколько раз молча прошелся по комнате.

Молчал и Раевский.

Убедившись, что из посетителя ничего нельзя вытянуть, чиновник сменил тон, решительно заявил:

— Вас отправляют в Идинскую волость!
— Как далеко это? — осмелился спросить Раевский.
— Немного ближе, чем до Петербурга, — ехидно улыбнулся чиновник и вышел.

В губернаторстве Раевскому сказали, что к месту назначения он может отправляться самостоятельно, без сопровождающего, и порекомендовали сходить на постоянный двор, где могут быть подводы из волости.

Первый раз за шесть лет Раевский шел без охранника, и как-то не верилось. Он все время оглядывался по сторонам, смотрел назад, не следует ли за ним полицейский. Мысленно он был там, в Олонках. Старался представить себе будущее место жительства, и каждый раз картина рисовалась весьма мрачной.

В тот день Раевскому повезло: на постоялом дворе был Идинский волостной писарь. Нашел его. Пожилой рыжебородый мужик с маленькими колючими глазами настороженно выслушал просьбу Раевского подвезти до Олонок, потребовал у него бумаги. Он долго рассматривал их, дважды повторил слова «государственный преступник», возвращая бумаги, поинтересовался:

— Казну обворовывал аль императора убить хотел?
— Ни то, ни другое, господин писарь. Я осужден как вредный для общества человек, и только.
— Ладно, в пути расскажешь. Поедешь со мной, приноси свои вещи, а я схожу перекушу малость, у тебя найдется несколько ассигнаций?

Мела поземка, но лошади шли ходко. Сани слегка бросало то в одну, то в другую сторону дороги, местами перепоясанной снежными горками. Писарь, закутавшись с головой в овчину, дремал, но вскоре он высунул из овчины свою рыжую бороду, повернулся к Раевскому, полюбопытствовал:

— Шуба на тебе купеческая, где стащил?

— Господин писарь, мы этими делами не занимаемся. Я бывший дворянин, майор...

— Вот как? — удивленно произнес писарь. — А почему же тебя в Читу не отправили?

— Сие мне неведомо. Вы лучше расскажите мне что-нибудь о селении, куда меня везете, — попросил Раевский.

— Зачем тебе? Скоро сам все увидишь. В том селении волков нет, но в окрестностях их изрядно, без этого в лес ходить нельзя, — сказал писарь и показал рукою на ружье, лежащее на сене у его ног. — А царя тебе доводилось видеть?

— Видел не только царя, но и его братьев, разве от этого легче?

— Все же, — сказал писарь. Неведомо, что он этим хотел выразить.

Возчик, до этого не обронивший ни единого слова, вдруг произнес:

— Интересно, что едят цари?

Его вопрос остался без ответа. Тем временем писарь закончил курить, окурок бросил на снег, повел глазами в сторону Раевского.

— Олонки — селение богатое, все подати исправно вносят, более ста дворов ныне, — начал рассказ писарь. — Лет двести назад бурят Ойланка с женой, сыном, невесткой и восьмилетним внуком весной на одноконном возке выехал из города вверх по правому берегу Ангары в поисках лучшей доли. Возок, старая лошадь в упряжке, юрта и два закопченных чугушка — все их богатство. В пути кормились рыбой, которую в избытке ловили в реке. Во время пути лошадь пала, купить другую не было денег. Семья остановилась рядом с причалом, на котором разгружались работные люди, промышлявшие рубкой и сплавом леса. Ойланки установили юрту. Мужики, отец и сын, ушли на заготовку леса. Ближе к осени заболел и скончался их

малец. Похоронили рядом с юртой. С наступлением зимы работа на причале прекратилась. Ойланки считали большим грехом оставить одинокой могилку внука и сына. Остались зимовать. За зиму совместно с беглым крестьянином из Малороссии Степаном Култуком, приставшим к ним, соорудили бревенчатую пятистенку. Весной, когда вновь заработал причал, его начали именовать причал Ойланки. А в казенной переписке наш брат писарь именовал его Олонки, да так и осталось. Тепереча на том месте, где когда-то стоял первый дом, начинается улица Култук. Беглец из Малороссии не раскрыл своей настоящей фамилии, назвал себя именем байкальского ветра — Култук.

В далеких Олонках, вдали от родины и друзей открывалась новая страница жизни Раевского — «жизни ссыльной». Всю дорогу от Замостья до Олонков его томила неизвестность, будущее казалось мрачным, но он не унывал. «Я потерял чины, ордена, меня лишили наследственного имения, — писал он, — но умственные мои силы, физическая крепость, имя мое — остались при мне».

Вечерело. Сельский староста привел Раевского в дом духобора Хомкова.

— Принимай гостей, Терентий Климович, — сказал староста, стряхивая снег с шапки.

— Гостям всегда рады, хотя еще наши деды говаривали. что незванный гость — хуже татарина, — не то в шутку, не то всерьез ответил хозяин и пронизывающим взглядом, сверху вниз, оглядел Раевского.

— Постояльца тебе привез, Терентий Климович, не откажешь?

Хозяин рукой расправил бороду, посмотрел в сторону старосты, успевшего сесть на лавку и закинуть ногу на ногу.

— Кто сей постоялец? Прошлый раз ты мне привел какого-то шаромыжника, дак он прожил два дня, а на третий и след простыл, а для полного расчета прихватил мои новые сапоги.

— Было дело, Терентий Климович, кто же знал что он с поддельной бумагой?..

— С поддельной или казенной, я ваших бумаг, чай, не читаю...

Слушая разговор, Раевский с первых минут узрел, что старик ушлый, из тех, кому палец в рот не клади.

— Надолго к нам? — спросил хозяин, глядя в глаза Раевскому.

— Навсегда! Теперь я ваш, а сколько проживу в вашем доме, договоримся.

— Звать-то как, откуда? — спросил хозяин и распрямил седую нависшую бровь.

— Фамилия моя Раевский, Владимиром кличут. Разжалованный майор, из дворян Курской губернии...

— Ты случайно не из тех, кто царя-батюшку малость припугнул? — улыбнулся хозяин.

— Не совсем из тех, — ответил за Раевского староста.

Квартирант, видимо, понравился старику, и он, глядя на Раевского, предложил:

— Скидывай, сынок, свои мокрые сапоги и ставь вон там, у печки...

Хозяин по-молодецки поднялся с места, сделал несколько шагов, достал из-за печки валенки с обрезанными голенищами, поставил их к ногам Раевского:

— Вот тебе теплая обувь!

— Спасибо вам! — поблагодарил Раевский и начал переобуваться.

— Спасибо, мил человек, лошадей не накормишь, — пошутил хозяин.

Первую ночь Раевский не сомкнул глаз. Нерадостные мысли не отпускали его. Он лежал с открытыми глазами и глядел на небольшое, заснеженное морозом окно, что серело в противоположной стене. Тридцать три прожитых года прошли перед глазами как один день. «Горестное воспоминание о безумно растроченной молодости — все соединилось, кажется, дабы разразить слабое бытие мое», — расскажет потом об этом Раевский. Неужели это конец мечтам, надеждам, стремлениям? Тоска обволакивала душу и тело, сковывала мысль. На улице, словно сочувствуя Раевскому, буйно ревел ветер, то пускаясь до тихого стога, то взлетая вверх с криком неумной тоски. Только к утру Раевский уснул. Хозяин слышал, как он ворочался, стонал. Утром сочувственно спросил:

— Пошто не спал, Федосеевич? Худая постель аль хворь прихватил? Может, испить чего-либо желаешь? Слышал, как всю ночь ворочался...

— Спасибо за участие, Терентий Климович. Вы верно заметили, что хворь прихватил, но моя хворь особая, и никому ее не излечить. Может, только время поможет...

— Для успокоения души, любезный, тебе надобно отвлечься изрядной работой. Вот, если пожелаешь, утром пойдем дрова колоть. По себе знаю, что всякие там мыслишки можно отвести тяжелой работой...

Раевский понимал, что в рассуждениях хозяина есть резон. Утром вместе с ним принялся за работу. В тот же день, к вечеру, после «изрядной работы», Раевского нагонец потянуло ко сну. Но перед тем достал тетрадь и записал:

*Что ж ваша жизнь? Задача без решенья,
Тревожная со смертию борьба,
А будущность — таинственная тьма,*

Вопрос и страх, и мрачное сомнение...

Первые дни жители Олонков с опаской и недоверием относились к ссыльному, к тому же прошел слух, что поселенец замышлял убийство самого императора. В те дни только о нем и был разговор. С наступлением темноты крестьянские избы запирались на все запоры. Но уже через неделю о нем пошли иные толки. Желая поближе познакомиться, стали приглашать его на семейные торжества. Вскоре Раевский знал многих жителей Олонков, его же знали все. Спустя некоторое время к Раевскому шли крестьяне. Одни за советом, другие с просьбой написать прошение или жалобу. Для них он был вроде мирового судьи. Обиженные искали и часто находили его поддержку.

Он защищал крестьян от произвола чиновников, которые боялись его, даже не решались появляться в селе. Долго в Олонках пели частушку, которую власти приписывали ссыльному.

*За речонкой быстрой
Становой едет пристав,
За ним письмоводитель,
Страшные вор и грабитель,
А за ним на паре
Две урядничьих хари.*

Однажды хозяин спросил:

— Ремесло какое-либо знаешь, Федосеевич?

— Ровным счетом никакого. Разве только цо канцелярской части, — грустно ответил квартирант.

— Худо, — выдавил хозяин, почесав бороду. — Ты из тех, кто много знает, но ничего не умеет, а для жизни

тепереча лучше, когда мало знаешь, а многое умеешь. Ведаешь грамоту, ну и куда ее? Я грамоту плохо знаю, но умею пимы мастерить, топором и рубанком владею, даже сапоги тачать умею, мне легче твоего... Ежели желаешь, можешь мне пособлять, аль свое хозяйство мыслишь заводить?

— Попытаюсь заводить свое, Терентий Климович.

— Правильно, Федосеевич. Я уразумел, что ты мужик башковитый, у тебя получится, но ежели что покупать вздумаешь, не торопись. Держи совет со мной. Здесь я знаю, что к чему. — Терентию Климовичу квартирант понравился, и сейчас он, будучи в хорошем настроении, продолжал: — Невесту тебе присмотрим. Хорошие девки имеются у того же Середкина. Собственной семьей обзаведешься и скучать перестанешь по своим Петербургам. Места у нас привольные; хлеб и рыба в большом достатке. Проживешь не худо, токмо трудиться надобно...

Раевский поблагодарил хозяина за добрый совет, от которого у него на душе стало легче, сказал, что пойдет поглядит селение, с которым еще как следует не познакомился. И хотя был март, но на улице вьюжило. Раевский, накинув шубу, подаренную в Замостье, вышел на улицу, но через несколько минут возвратился.

— Почто так быстро? — лукаво спросил хозяин.

— С Ангары дует сильный ветер со снегом, не устоять, много ли увидишь при такой погоде, — пояснил Раевский.

— Энто я знал, но не стал отговаривать тебя, лучше, когда сам во всем убедишься.

В доме было тепло, пахло свежим ржаным хлебом, только что вынутым из печи. Раевский снял шубу, сел на лавку рядом с хозяином, попросил:

— Расскажите о себе, Терентий Климович, обо мне вы уже все знаете, а я о вас ничего. Но мне показалось, что вы тоже откуда-то приехали.

Хозяин откашлялся, подошел к деревянной кадучке с водой, что стояла в углу избы, деревянным ковшиком зачерпнул воды, отпил, затем рукою разгладил свою черную с проседью бороду:

— Что сказывать, Федосеевич, наше дело простое, крестьянское, грамоте не обучены, с царями не якшались...

Казалось, что хозяин хочет уйти от разговора, но, немного помолчав, он продолжил:

— Нынче, Федосеевич, многие желают почета, славы, известности, а для этого порой захватывают чужое.

— Надеюсь, что вы, Терентий Климович, как и я, свободны от этих желаний?

— Нам бог не велит, наша вера...

— Бог никому не велит грабить и насиловать, однако все это бывает, — заметил Раевский.

Что верно, то верно, по человеческие души попали под влияние зла еще задолго до сотворения мира. А сотворив мир, господь бог посадил их в темницы — наши тела. Вокруг человека существует добро, а зло часто выскакивает из своей темницы...

Рассуждения Терентия Климовича заинтересовали Раевского, он с вниманием слушал его, вспомнил, что подобное рассуждение ему встречалось у Плутарха, который утверждал, что порок сидит внутри каждого и постоянно за ним следует. В покое проведенная жизнь расслабляет не только тело, но и душу. Человек должен всегда трудиться... Беседа так и осталась незаконченной: в дом вошел сосед и вызвал хозяина в сени.

Раевскому было приятно сознавать, что крестьяне здесь работают на себя, а не на помещиков. Земля в Сибири находилась в пользовании сельских общин, были и частные земли. Раевский решил купить

несколько десятин земли и попытать счастья на крестьянской ниве.

В Сибири не было крепостного права, упразднение которого составляло одну из главных задач тайного общества. Уже тогда Раевский представлял, как будет все происходить. В элегии 11 он писал:

*Свирепствуй, грозный день! Да страшною
грозою
Промчится не в возврат невинных скорбь и стон,
Да адские дела померкнут адской тьмою...
И в бездну упадет железной злобы трон!*

В Петербурге даже после разгрома восстания декабристов еще долго было неспокойно. За подозрительными продолжалась слежка, многие вольнолюбивые поэты и офицеры подвергались гонениям.

III отделение не оставляло в покое и Раевского. В 1828 году был получен донос от мичмана Думутье о каких-то загадочных связях Раевского с офицером Мизевским в период, когда Раевский находился в Тираспольской крепости. В Сибирь пришел запрос. Раевский дал официальный ответ, что Мизевского знал только как караульного офицера.

Тогда же в Петербург вместе с объяснением Раевского был отправлен ответ губернатора: «Поселенец Раевский помещен в Иркутском округе Идинской волости в селении Олонках, в 80 верстах от города; ведет жизнь весьма уединенную, избегает всяких связей и знакомств и, кажется, слишком поражен своим положением. Зимой занимается, сколько известно, книгами, летом — огородом, который он завел, и ботаникой. Поведения чрезвычайно скромного и, по слухам, имел намерение утруждать государя

цесаревича исходатайствовать милость у государя императора о позволении поступить рядовым полка действующей армии».

Раевский не забывал друзей, оставшихся на свободе, в те дни он закончил «Послание к К...ву».

*Изгнанник с маем и весной
Тебя приветствует, друг милый,
Опять зимы безмолвной и унылой
Темничный образ пред тобой
Природы девственной сменился красотой...
А для меня — прошла весна!..
Очаровательной улыбкою она
Тоски по родине, привычного роптанья.
Печальных дум и без воспоминанья
Не истребит в душе отжившей и немой.
Там, за вершинами Урала,
Осталось все, что дух питало мой...*

Так было тогда, но пройдут годы, и Сибирь Раевский назовет второй родиной, в которой он останется навечно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«ЗДЕСЬ БЕРЕГ МОЙ, ПРЕДЕЛ НАДЕЖД, ЖЕЛАНИЙ...»

Счастлив тот, кто в состоянии принести жертву своей Родине. Он имеет право на уважение и почет своих соотечественников.

М. Муравьев-Апостол

Вниз, к Ангаре, к ее пологому берегу от дома Хомкова, в котором жил Раевский, шла тропа, протоптанная в траве. По ней к реке ходили все, кто жил на улице Култук. В двухстах шагах от Култука протекала небольшая речушка Алонко, после двух небольших зигзагов впадавшая в Ангару. Ближе к Алонко стоял дом Моисея Середкина, крестьянина средних достатков. Топор и пила — инструменты, с которыми с юных лет не расставался Середкин. Большая часть домов на Култуке сработана его мозолистыми руками. Он первый в Олонках у себя во дворе прорыл колодец, и огромный журавель подымался высоко над домами, как бы зазывая людей за водой. Со всего села приходили сюда за вкусной водицей люди, а после того как пошел слух, что вода из колодца Середкина помогает от внутренней хвори, от желающих не стало отбоя. Даже сельский священник отец Сперанский неизменно пользовался этой водой во время крещения новорожденных и в других обрядах. В жаркие летние дни воды в колодце Середкина на уменьшалось, хотя Алонко сильно мелела. Летом люди купались в Алонко, а в протекающей рядом Ангаре вода

не нагревалась выше двенадцати градусов; в ней никто не купался.

Повзрослевшие дочери Середкина никогда не сидели без дела. Летом вместе с матерью работали на огороде, ухаживали за скотом, заготавливали на зиму сено и дрова. Сын с отцом часто уходили на заработки. Пилили и сплавляли по Ангаре лес. Иногда нанимались строить дома. Только в праздничные дни вся семья собиралась вместе. С тех пор как в Олонках поселился Раевский, в доме Середкина часто говорили о нем. О его большом трудолюбии и хорошем обхождении с крестьянами. А когда узнали, что Раевский купил тридцать десятин земли, поверили, что поселенец никуда не собирается уезжать из Олонков. Середкины давненько подумывали, что неплохо бы иметь такого зятя. Они не подозревали, что их Авдотья давно тайно влюблена в поселенца.

...Авдотья часто в летние воскресные дни брала удочку и по тропе бежала к Ангаре. Иногда к реке приходил и задумчивый Раевский. Он садился на берег и часами смотрел вдаль.

Однажды они встретились.

— Здравствуйте, удачи вам, — сказал Раевский.

— Ой! — испуганно крикнула Авдотья, и из рук ее выскользнула и упала на берег только что снятая с крючка рыба.

Раевский попытался подхватить ее, но не успел.

— Вот досада. Я во всем виноват, — извинительно оправдывался Раевский, глядя в пунцовое лицо Авдотьи.

— Ничего, ничего, я еще поймаю, — успокаивала его Авдотья.

— А если не поймаете?

— Тогда хватит того, что уже есть. Вот, поглядите... — Авдотья показала Раевскому два судака

в корзине, прикрытых сверху травой. — Если пожелаете, могу вам подарить, — и опять покраснела.

— Спасибо, вы мне уже одного подарили, — улыбаясь, сказал Раевский.

Авдотья, не сказав ни слова, убежала. Раевский глядел ей вслед, только сейчас заметив, какая она стройная и подвижная, да и лицом весьма привлекательная. «Дикарка, даже «до свиданья» — не сказала, а все же прекрасная», — подумал про себя и начал бросать камешки в реку.

После встречи с Авдотьей Раевский чаще стал бывать у Серединных. Он понял, что его все время влечет к Авдотье. Родители Авдотьи стали замечать, что их дочь стала как-то по-особому смотреть на поселенца.

Но Авдотья мучилась. Она, неграмотная, необученная, простая крестьянская девушка, сознавала, что не пара этому образованному и чужому поселенцу, у которого на душе бог знает что. Когда, случалось, они оставались вдвоем, Раевскому очень хотелось обнять ее, притронуться губами к ее румяной щеке. Но он сдерживался, прикидываясь равнодушным и безразличным. От этого ей становилось еще тягостнее, она как бы убеждалась, что поселенец не любит ее. И тогда, скрываясь от людей, Авдотья горько плакала. Однажды она не выдержала и открылась матери.

— Мамочка, я не хочу, чтобы он заходил к нам.

— Кто, доченька?

— Поселенец...

И мать и отец Авдотьи считали, что хотя их дочь красивая, работающая и бог не обошел ее умом, но она не может осчастливить гордого поселенца, читающего книги на иностранных языках.

По-другому думал Раевский. Он был уверен, что за короткое время обучит «дикарку» грамоте, она будет уметь читать и писать. Посоветовавшись со

священником, с которым у него с первых дней установились добрые отношения, Раевский решил создать школу, в которую хотел пригласить и Авдотью. Занятия проходили на квартире Раевского. Любезному хозяину Терентию Климовичу затея квартиранта понравилась, но только сожалел, что по старости лет из-за плохих глаз не может сам учиться. Вскоре в школу Раевского пришли взрослые дети Середкиных: Авдотья, ее сестра и младший брат. С самого начала Раевский обнаружил в своей будущей невесте незаурядные способности к учению. Он проводил с ней даже дополнительные занятия, а потом она вскоре стала его помощницей.

Более четырех месяцев Раевский постоянно встречался с Авдотьей, но все еще не был уверен в истинной любви к ней. Подобное чувство он уже испытывал однажды несколько лет назад к девушке Гаше. Тогда он любил свои переживания к ней и какую-то ранее не испытанную полноту чувств при встречах. Считал это любовью. И только позже осознал, что заблуждался, как заблуждаются тысячи людей, ошибочно приняв любовные переживания за истинную любовь, а потом об этом горько сожалеют. «Может, и сейчас так? Может, я вновь ошибаюсь? А может, она ошибается?» — эти вопросы неотступно стояли перед ним.

И вдруг по Олонкам прошла недобрая молва, будто поселенец добился покорности Авдотьи и тут же бросил ее. А в Иркутске якобы помолвлен с другой.

Злые слухи доходили и до Раевского. Он догадывался, кто их распространял, но ничего сделать не мог. Всем сердцем переживал за Авдотью и ее родителей. Как мог успокаивал их. Они верили ему, но все же тревожились за судьбу дочери.

Слухи подогревали воображение Раевского, и он стал понимать, что не может больше жить без своей

«дикарки».

*Она одна казалась мне мила,
Как роза свежая весною;
Как роза юная цвела
Вдали от света, бурь и зла
Она прекрасною душою.
Улыбка, легкий стан, ее убор простой —
Все было зеркалом Авроры,
И в новом мире к ней одной
Невольно мрачные мои стремились взоры.
Всегда беспечна, весела,
Она казалась мне мила
Невинностью своей и детской простотою —
Все в ней для глаз моих дышало красотою.
.....
Она сказала мне отрадное «живи»!
И раны сердца залечила!
Упал с души моей свинец,
Ты мне дала ключи земного рая —
Возьми кольцо, надень венец,
Пойдем вперед, сопутница младая.*

В конце 1828 года Авдотья Середкина стала женою Раевского. Венчались в церкви неподалеку от дома. Прямо из-под венца привел Раевский невесту, как и положено по русскому обычаю, в собственный дом. Крестьяне села на своем сходе решили подарить Раевскому за его доброе к ним отношение место на реке Ульяхе для строительства мельницы и островок Суслик для покоса. Спустя почти двадцать лет Раевский в письме к Батенькову писал: «Женился здесь и — не ошибся, что случается весьма редко». На простых крестьянских девушках женились и другие декабристы,

оказавшиеся в изгнании. Именно тогда в народе родилась песня:

*Не видела, не слышала,
Родимой невдомек,
Кому украдкой вышила
Я белый рушничок.
Ему, дружку сердечному,
По ком ночей не сплю,
Несчастному, нездешнему,
Кого я люблю.
Не нашей он сторонущи,
А век в ней вековать...
Пойду к нему я в женушки, —
Не станет горевать...*

Раевский как бы вновь воспрянул духом, и тогда бодро зазвучал его голос:

*...Здесь берег мой, предел надежд, желаний,
Гигантских дум и суетных страстей;
Здесь новый свет, здесь нет на мне цепей —
И тихий мир, в замену бед, страданий,
Светлеет вновь, как день, в душе моей.
Она со мной, подруга жизни новой,
Она мой крест из рук моих взяла,
Рука с рукой она со мной пошла
В безвестный путь — в борьбу с судьбой
суровой...*

После женитьбы Раевского в Олонках стали считать своим. Многие последовали примеру Авдотьи и пошли в школу Раевского, как ее стали называть местные жители. Но не было помещения. Тогда Владимир

Федосеевич за свой счет нашел дом крестьянина Миронова и принимал в школу всех желающих. Вскоре ему пришлось нанять для помощи еще одного учителя, Гусарова.

Авдотья понимала, что ей необходимо многому учиться, чтобы не слишком отставать от образованного мужа. Раевский с большим удовольствием помогал ей в этом: часто они засиживались до утра за книгами, а иногда даже спорили.

Раевский понимал, что своих книг у него явно недостаточно для обучения поселян. Он стал искать связи в Иркутске, и ему вскоре повезло — промышленник и первый частноторговец Восточной Сибири, Баснин, разрешил ему пользоваться своей прекрасной библиотекой.

Обучая детей и жену, Раевский сам учился земледельческому делу. Покупал и изучал книги по сельскому хозяйству. Знакомство с ботаником Турчаниновым способствовало повышению его познаний. Турчанинов не раз бывал гостем Раевского в Олонках, давал ему много полезных советов по выращиванию овощей и фруктов.

И как удивился Турчанинов, когда однажды, приехав к Раевскому, увидел у него на огороде дыни и арбузы, что было необычно для этих мест.

— Не ожидал, не ожидал! — радостно воскликнул Турчанинов, обнимая Раевского.

— Ваша школа, дорогой Николай Степанович, ваша школа! — ответил Раевский, довольный похвалой.

— Нет, нет, это ваши способности, ваше упорство, Владимир Федосеевич, этак, гляди, и ананасы начнете выращивать. Похвально, весьма похвально! Прямо скажу — я бы не сумел...

В 1836 году Турчанинов, будущий профессор Харьковского университета, стал крестным отцом сына

Раевского, Юлия. Память о Турчанинове Владимир Федосеевич сохранил на всю жизнь.

Вообще Раевский всегда радовался встречам с умными людьми. Однажды он приехал в Иркутск и там случайно познакомился с немецким ученым-естествоиспытателем, профессором Берлинского университета Адольфом Эрианом, путешествовавшим по Сибири. Вечером об этой встрече рассказал жене.

— Когда я ему прочитал стихотворение на немецком языке, он сильно удивился. И сразу же схватился за блокнот, начал задавать мне вопросы и записывать мои ответы. Потом сказал, что напечатает все это за границей.

— Ты ничего лишнего не наговорил? — тревожно спросила жена. — А то дойдет до Бенкендорфа, и там опять вспомнят тебя.

— Нет, разумеется, ответил только на его вопросы...

Возвратясь на родину, Эрман начал издавать свои путевые записки. В 1836 году он отправил императору Николаю I в дар первый том записок, в котором было несколько лестных слов о русском императоре. Николай I настолько расчувствовался, что наградил автора бриллиантовым перстнем. Но когда в последующих книгах прочитал: «Я однажды встретил доброго человека, проживающего в деревне и приезжающего в Иркутск по делам или в гости и только в вечерние часы. Он носил кафтан, который был несколько лучше обычной одежды сибирских крестьян. В нем легко угадывался европеец, но тем не менее я был удивлен, когда он на вопрос о его происхождении и судьбе полушутливо, но многозначительно со славянским акцентом ответил стихами на немецком языке.

*Однажды ночью, в шторм и бурю,
Из могилы свет сверкнул.
Ярость шторма загасить его пыталась,
Но сверканье, хоть мгновенье, все же
длилось...»*

Далее Эрман рассказал, что Раевский пострадал «за идею», как многие его товарищи. Прочитав эти слова, император со злостью швырнул книгу на пол, проворчал: «Этот Эрман большой и неисправимый мерзавец, а я его бриллиантовым перстнем наградил...»

Вторую осень встречал Раевский на земле сибирской. Был октябрь. Дни стояли солнечные, прохладные. По утрам были заморозки. В ту осень в саду Владимира Федосеевича были посажены первые лиственницы, которые сразу облюбовали воробьи для ночных убежищ.

Сегодня в доме Раевского говорили шепотом. Авдотья лежала в постели бледная и тревожная: ждала ребенка. Ее опекали мать и баба-повитуха.

Владимир Федосеевич работал во дворе, но частенько подходил к дверям дома, прислушивался. Он был уверен, что Дуняша подарит ему сына. Так и было. Когда он в очередной раз подходил к дверям, ему навстречу выбежала теща с сияющим лицом и уведомила, что родился мальчик. К вечеру все село знало, что в семье поселенца родился ребенок. Олонкинские крестьяне при встрече с Раевским с уважением кланялись ему, а иные даже останавливались, дабы пожать руку. Крестьяне верили, что поселенец не какой-то там перекати-поле, а их постоянный житель. Да и сам Раевский письма к родным и знакомым заканчивал словами: «Олонкинский крестьянин Владимир Раевский».

К Костеньке, так называли сына, Владимир Федосеевич с каждым днем все больше привязывался. Даже короткая разлука с ним была тягостной. Может быть, тогда, в те дни, он в полной мере понял и почувствовал ту нежность и любовь, которые к нему проявлял покойный отец в детстве. Костику не было еще десяти месяцев, как он сделал первый шаг в своей до боли короткой жизни. Радость всего дома вскоре омрачилась болезнью Костика. Полтора месяца выхаживали ребенка. Чего только не предпринимал Владимир Федосеевич, чтобы спасти сына. В дни болезни ребенка, почувствовав недоброе, Раевский написал:

Костеньке.

1-й голос.

*Слышишь, матица трещит,
Ветер в трубе, как стон, свистит
И собака землю роет.
То визжит, то вдруг завоет...
Где наш добрый господин?
Что жена его и сын?
Говорят, малютка болен?*

2-й голос.

*Болен? Верно, болен он.
Мне приснился вещий сон —
Выпал зуб и в воротах
Барин... дом построил новый
С крышей крепкою тесовой
.....
Слышно ясно за иконой
В третий раз раздался стон,
И над папертью церковной*

*Стонет жалобно сова...
Вспомни старцевы слова
Он сказал, дитя лаская:
В нем улыбка неземная...*

Но Костенька вскоре умер. Тяжело переживал Владимир Федосеевич его смерть. Страдания, боль, разочарование, крах веры в разум и справедливость, в смысл жизни он облекает бытовыми и религиозными суевериями. В его дневнике есть такая запись: «15 сентября 1830 года. Видел во сне отца моего, который, садясь в лодку, сказал мне: «Прощай, друг мой, теперь прежде 10 лет я с тобою не увижусь...» Лодка тронулась по широкой реке, и когда она скрылась из виду, я проснулся... Что привязывает меня к этому мрачному миру? Зачем еще живу я? Какая будущность ожидает меня...»

Раевский написал тогда «Воспоминание моему сыну», он как бы обращался к погибшему мальчику, выражал боль души. «Твоя жизнь была звездой моего счастья. Она угасла, где она? Вокруг меня все темно — злые люди! Все исчезло!.. Близко полуночи. Никто не прерывает молчания и размышлений моих. Один, окруженный сном и безмолвием, я обращаю мысль мою к протекшему... На крыльях мечты я переношусь в то счастливое время, когда обладал счастливой беспечностью».

У Раевского и прежде были моменты разочарований и сомнений, однако здоровые свойства характера, ясность ума брали верх, и он всегда находил силы для дальнейшей жизни и борьбы.

Теперь из тяжелого состояния помогла выйти Владимиру жена. Видя, что муж страдает, она подошла к нему, обняла и тихо сказала:

— Не печалься, дорогой мой, богу угодно было взять Костика, скоро он пошлет нам другого...

Авдотья уже была беременна первой дочерью Александрой.

Осенью 1830 года декабристов, содержащихся в Читинском остроге, перевели в новую тюрьму, построенную специально для них по проекту, утвержденному императором, на Петровском каторжном заводе близ Иркутска.

Несколько лет спустя в определенной группе узников заканчивался срок каторги, и их отправляли на поселение в самые глухие места Сибири.

Когда истекал срок каторги Сергею Волконскому, его жена, Мария Николаевна, ссылаясь на свое болезненное состояние и на то, что у нее двое детей, обратилась к царю с просьбой разрешить поселиться ее мужу под Иркутском совместно с доктором Вольфом. В 1836 году царь дал на это согласие. В марте 1837 года Волконские поселились в селе Урик Иркутской губернии. Там же поселились Никита Муравьев с братом, Лунин, Вадковский. А в селе Оёк — Трубецкой.

Отягощенный делами службы и семейными заботами, Раевский не сразу узнал, что его единомышленники прибыли на поселение. А когда узнал, тут же написал письмо Волконскому и пригласил его к себе, в Олонки.

Ссылные поселенцы занялись сельским хозяйством, по воскресным дням часто встречались. Вели себя осторожно, ибо они знали, что III отделение его императорского величества по-прежнему зорко следит за всеми неблагонадежными. По-другому и не могло быть, так как в самом императоре сидел сыщик и следователь, вечно подозрительный и отслеживающий, вечно ищущий своих противников. Раевский же жил в Олонках, в меру сил трудился и почти был уверен, что

он больше не представляет интереса для ведомства Бенкендорфа, после того как написал объяснение на его запрос о какой-то непозволительной связи с офицерами, охранявшими его в Тираспольской крепости. И вот новая неприятность. Однажды среди ночи к нему в дом ворвались жандармы и, ничего не объясняя, начали обыск. Трое копались в доме, один остался на улице для наблюдения за дверью и окнами: не выбросят ли чего. Раевский несколько раз пытался выяснить причину такого «внимания» к нему, но жандармы молча продолжали свое дело. Шарили по всем углам и закуткам. Жандармский офицер с особым вниманием рылся на книжных полках. Жена Раевского прижалась к печке, дрожала; страх застыл на ее лице. Владимир Федосеевич подошел к ней, положил руку на плечо и тихо сказал:

— Не волнуйся, голубушка, мне ничего не угрожает. Ничего дурного я не совершил. Здесь какое-то недоразумение. — Она верила мужу, но страх не покидал ее.

Жандармы так и не смогли ничего найти. Офицер потребовал отпереть старый железный сундук, ключ от которого Владимир Федосеевич не мог найти. Жандармы были уверены, что именно в сундуке найдут крамольные бумаги, за которыми они пожаловали, а хозяин притворяется, что потерял ключ.

Кованый сундук, сработанный в конце XVII века уральским умельцем, являл собою уникальное изделие. Его уступил Раевскому иркутский купец Белоголовый, покоренный необыкновенной эрудицией и неотразимой логикой ссыльного поселенца.

Уступая сундук за небольшую сумму, купец полюбопытствовал:

— Что же вы, любезный, в нем хранить будете?

— Стихи, — улыбнулся Раевский.

— Стихи? — удивленно переспросил купец я, услышав подтверждение, громко рассмеялся и тут же назидательно заметил: — Стихи, любезный, надобно издателям направлять, а не в сундуки складывать... Полагаю, вы слышали о поэте Пушкине. В прошлом году я привез из Петербурга в списках некоторые его стихи. Вот это, скажу вам, любезный, стихи так стихи. Сказывают, сам император желал бы, чтобы они хранились в сундуке сочинителя, однако ж они распространяются по всей России...

— Мои стихи издатели тоже будут выбрасывать в корзинку или отправлять в III отделение. А посему я решил, что лучше складывать их в сундук.

Неохотно расставаясь с сундуком, купец подошел к нему и три раза повернул ключом, услышав знакомый звон, махнул рукой:

— Так и быть, забирайте. Храните ваши сочинения под двенадцатью запорами, авось когда-нибудь они увидят свет...^[4]

— Будем надеяться...

Когда Раевский привез сундук в Олонки, возле дома его уже ждал пожилой крестьянин, пожаловавший за каким-то неотложным советом. Он и помог внести в дом сундук, а Раевский не удержался от соблазна и показал ему устройство сундука. Вскоре в Олонках заговорили о таинственном сундуке. Как бы там ни было, но сейчас жандармы со всех сторон разглядывали железное чудо, пытаясь отыскать замочную скважину, которая составляла один из его секретов и открывалась при нажатии едва заметной кнопки.

Жандармский офицер сказал, что ежели ключ не отыщется, то сундук он заберет с собой. Но ключ был найден. Раевский подошел к сундуку, вставил ключ в замочную скважину. В комнате прозвенел звонок, вызвавший удивление на лицах непрошенных гостей.

Подняв крышку сундука, Раевский повернул голову к жандармскому офицеру:

— Пожалуйста, однако и здесь никакой крамолы нет.

Офицер локтями оттолкнул от сундука своих помощников, жадно запустил руку вовнутрь, извлек оттуда листы исписанной бумаги, бросил на стол, затем в боковом отсеке нащупал пачку хрустящих ассигнаций. Положив деньги рядом с бумагами, офицер присел к столу, спросил:

— Это все ваше?

— Чужого не держим, — ответил Раевский, и, глядя на офицера, спросил: — Вы что же, намерены деньги отобрать?

Офицер молча продолжал считать, а когда закончил, ответил:

— Нет, деньги брать не велено. Однако могут спросить сколько было.

Оставив деньги на столе, жандарм пододвинул к себе бумаги, поинтересовался:

— Бумаги сии о чем?

— Мои стихи.

— Однако ж мы их увезем, пусть там поглядят, энтого мы не разумеем.

Когда жандармы удалились, на улице стояла ночь, но Раевские больше не ложились спать. Владимир Федосеевич вслух высказывал предположения, строил различные догадки насчет неожиданного обыска, что «кто-то учинил ложный донос».

Еще долго сундук стоял открытым. Раевский смотрел на него, иногда ему казалось, что жандармы опустошили не сундук, а его душу. Свое чувство выразил вслух:

— Когда в двадцать втором году у меня делали обыск, я не чувствовал себя так скверно, как сейчас. Очень жаль стихов. Теперь я их больше не увижу...

— В них есть что-то непозволительное? — тревожно спросила жена.

— Как тебе сказать, их я писал для себя. Там мои личные чувства и мысли, а кто может запретить человеку мыслить? Правда, Николай Павлович стремится к этому...

Владимир Федосеевич поглядел на растревоженное лицо жены, сказал:

— Ничего, Дуняша, все будет у нас хорошо...

Два дня спустя после обыска на Раевского навалилась новая неприятность. Из Иркутска в Олонки приехал следователь и потребовал у Раевского письменного ответа на несколько вопросов касательно «дела о буйных поступках курского помещика, отставного корнета Петра Раевского» — брата декабриста. Истинная причина обыска и допроса открылась несколько лет спустя.

В июле 1830 года брат Раевского Петр решил создать общество «бывшее у Орлова». Постепенно к Петру Раевскому примкнул ротмистр Уланского полка Юрьев, штабс-капитан Ушаков, поручик Колычев, штаб-лекарь Адам, поручик Языков и дворянин Боев. На первом совещании было решено связаться с влиятельными лицами в Петербурге и в Иркутске, в частности, с Владимиром Раевским, куда предполагалась поездка Петра. Для общества нужны были деньги. Петр Раевский дал согласие заложить за 100 тысяч рублей имение, а тридцать тысяч взять под заемное письмо. После чего решено созвать новое совещание и избрать Михаила Орлова главой общества. Тогда же по предложению Боева было решено убить царя. С замыслом общества Петр ознакомил двоюродного брата Василия Раевского, который якобы примкнул к заговорщикам, а сам немедленно написал донос в III отделение.

По высочайшему повелению в Курске была учреждена специальная комиссия для расследования. Комиссия прислала Иркутскому генерал-губернатору бумагу: «Предписать благонадежному и в известной опытности чиновнику или двум — немедленно и строжайшим образом учинить обыск всем бумагам у находящегося в Сибири бывшего майора Владимира Федосеевича Раевского, и какие бумаги, тетради, рукописи, книги беловые и черновые окажутся, опечатать его, Раевского печатью и посланными чиновниками доставить без потери времени в означенную комиссию в Курске, а на случай, не имеет ли Раевский какой-либо с кем переписки, то, употреби строжайший за ним надзор, и, когда в чем окажется, приказать доставлять оную в то же время означенную комиссию».

К этому времени III отделение уже располагало «данными» о «заговоре» декабристов в Сибири, придуманном проходимцем и известным авантюристом Романом Медоксом. Дабы пресечь все в самом зародыше, в Сибирь был послан осободовверенный императора, а в Курске создана специальная комиссия. Император и Бенкендорф попались на крючок авантюристов, поверили им. На самом же деле в Сибири никакого заговора не было. Царь очень боялся, «как бы потушенный умысел бунта не вспыхнул вновь и не заразил бы сердца развратные и мечтательность дерзновенную».

Следствие велось под непосредственным наблюдением императора. Во время следствия Петр Раевский умер в тюрьме. Умер также штаб-лекарь Адам. Судьба других заговорщиков неизвестна.

Предатель Василий Раевский попытался «доказать», что донос он написал «по обстоятельствам семейной ссоры». Однако он был сослан в Сибирь на солеваренный завод и там погиб.

В воскресный день, задолго до рассвета, Раевский был уже в пути. Он спешил в Урик, к Волконскому.

Лошадь, запряженная в двухместные легкие сани, подаренные ему отцом жены, резво бежала по едва заметному санному пути. Слева и справа от дороги, покрытые пушистым снегом, шумели высокие сосны. В глубине леса надрывно выл волк. Его вой выражал неуюнную тоску и отчаяние: так воет старый, одинокий зверь, лишившийся всей стаи. На крутых поворотах сани быстро бросало из стороны в сторону. Однажды Раевский не удержался и был выброшен в снег на обочину дороги. Лошадь какое-то время продолжала бежать. Спohватившись, он попытался догнать ее, но не сумел. Потом она скрылась за поворотом дороги. Подымалась метель. Раевский заволновался: лошадь могла стать легкой добычей волков, но ее остановили охотники, шедшие навстречу.

Поблагодарив охотников, Владимир Федосеевич вскоре обнаружил, что на санях недостает некоторых подарков, которые он вез друзьям. Однако это не огорчило его. Радуюсь предстоящей встрече, он, подгоняя лошадь, вполголоса запел сочиненную им песню.

*Не захочет дева русская
Посрамить стыдом любезного,
Чтобы он священну родину
Позабыл для страсти пламенной...*

А снова услышав «песню» одинокого волка, и побаиваясь встречи с ним, потрогал пистолет. Раевский хотя и радовался предстоящей встрече, но иногда и волновался: «Остались ли они верные идее, за которую

пострадали? Как отнесутся ко мне; не окажусь ли в их среде чужаком?»

Сам же он готовился «излить душу», поделиться с ними тем, что так долго хранилось в ее тайниках.

Дорога была глухая. Звон бубенцов, который с каждой минутой становился все отчетливее слышен, прервал его размышления. Вскоре он увидел несущихся ему навстречу пару сытых лошадей, запряженных в высокие расписные сани, в которых обычно разъезжали купцы и важные чиновники. На санях позади ямщика сидел мужик в тулупе и бобровой шапке. Лихач ямщик, видимо, решил разминуться с Раевским, не сбавляя скорости, но промахнулся: лошади проскочили, а сани сцепились полозьями. остановились.

— Куда же ты прешь? — ошетинился на Раевского ямщик.

Пассажир соскочил с Саней, подняв слетевшую с головы шапку, начал стряхивать, с нее снег; Раевский взглянул на него и удивился: перед ним был Волконский.

— Сергей Григорьевич, неужели это вы? — спросил Раевский.

— Я, Владимир Федосеевич, я, — ответил Волконский, шагнул навстречу Раевскому.

— Куда же вы? — спросил Владимир Федосеевич.

— Спешил к вам. Когда мы узнали, что вы в Олонках. Мария Николаевна не давала покоя: поезжай да поезжай. Да и нам всем не терпелось взглянуть на тираспольского узника, который так славно «судьбу свою суровую с терпением мраморным сносил».

— Вы и это помните?

— Хорошо помню. После вашего ареста все мы были взволнованы и, правду говоря, со дня на день ожидали своей очереди. Всех нас успокаивал тогда Павел Иванович, он уверял, что «Раевский ни на кого не укажет». А как он радовался, когда до нас в списках

дошло ваше тюремное стихотворение, в котором вы заверяли Орлова в том, что «нигде себе не изменил».

Волконский пересел в сани Раевского, и они продолжали свой путь.

— Ну-с, рассказывайте, Владимир Федосеевич, как вы тут прижились? — спросил Волконский.

— Нет, прежде расскажите вы, Сергей Григорьевич, как вам удалось выжить в николаевских «будуарах»? А мне что вам сказать? Я как та маленькая березка, что прижилась на черепичной крыше дома Пестеля в Тульчине, помните? Земельки там ни золотника, а она росла... Правда, березка сама посеялась, а меня, как и вас, пересадили сюда император. Прижился и даже побеги дал... Надеюсь, скоро вы сами увидите.

— Человек, дорогой Владимир Федосеевич, такой зверь, что к любым условиям приспособится, выживет. Я сейчас вот о чем думаю. Как только приедем в Урик, сразу же нарядим гонца в Оёк за Трубецким и Банковским, и у нас сегодня будет, так сказать, вечер встречи и воспоминаний. Вот только Лунин может на охоту уехать, с вечера собирался...

— У меня для Лунина сюрприз. Уже много лет я берегу для него письмо, которое мне вручили еще в Польше. Как там он? По-прежнему острит?

— Ах, если бы только острил. Он беспрерывно «дразнит медведя». Мы понимаем, что все это может кончиться плохо, просим его успокоиться, а он не может, не та натура. Николай его лично знал прежде и не любил за острый язык, а теперь за разоблачительные статьи, опубликованные за границей, он, как мы понимаем, его возненавидел...

Как и предполагал Волконский, Лунина не застали: на двое суток тот уехал на охоту.

Мария Николаевна была весьма рада гостю, он ей хоть и дальний, но все же родственник.

В доме Волконских застали доктора Вольфа, он пришел к их больному ангиной сыну, а несколько минут спустя Раевского познакомили и с братьями Никитой и Александром Муравьевыми. Последние вначале настороженно отнеслись к нему, можно сказать, присматривались, изучали его, но уже к приезду Трубецкого Никита с особым интересом выслушал его рассказ о суде над ним и проникся к нему уважением. Лицо Раевского показалось ему суровым, но притягательным, оно выражало усталость и тонкий ум.

— Нелегко вам было. Владимир Федосеевич, считайте, что почти шесть лет вас непрерывно судили! С нами за полгода расправились. Да суда над нами, можно сказать, и не было. Сперанский распределил всех по группам, а Николай самолично определил, кому — что. Одного Орлова братец спас от расправы.

— Но и судьба самого Сперанского незавидна, — заметил Трубецкой.

И это была правда, которую знали немногие. Еще при Александре I он попал в немилость, хотя до того был его главным советником по вопросам разработки «Государственного плана преобразования России». Царское окружение было недовольно быстрым продвижением Сперанского по лестнице чинов и званий. Пошли различные письма, ложные доносы. Были якобы «подслушаны» его тайные разговоры. Одним словом, сделали французским шпионом. Александр I решает казнить его, но прежде посоветовался со своим немецким приятелем, профессором Парротом, который ответил ему письмом: «Когда вчера доверили мне горькую скорбь Вашего сердца об измене Сперанского, я видел Вас в первые моменты Вашего гнева и надеюсь, что Вы теперь далеко отбросили от себя мысли о его расстреле. Не могу скрыть, что услышанное от Вас вчера бросает на него тяжелую тень; но в том ли расположении духа находитесь, чтобы оценить

справедливость этих обвинений, имеете ли силы успокоиться и подумать, нужно ли его вам судить? Любая комиссия, созданная поспешно для этой цели, может состоять только из его врагов. Не забывайте, что ненавидят Сперанского больше всего из-за того, что Вы его подняли очень высоко. Никто никогда не стоял выше министров, кроме Вас самих. Не думайте, что пытаюсь ему покровительствовать. Не имею никаких связей с ним и даже знаю, что он меня ревнует к Вам. Но даже если предположим, что он действительно виновен — обстоятельство, которое, по моему мнению, еще никак не доказано, — то все равно должен состояться законный суд, который только и определит его вину и меру наказания. А в эту минуту Вы не имеете ни времени, ни спокойствия духа, необходимых для назначения такого суда. По моему мнению, совершенно достаточно, чтобы он был отстранен от Петербурга и поставлен под такой надзор, чтобы никаких связей с неприятелем не было...»

Это письмо спасло Сперанского. Он был отправлен в ссылку в Нижний Новгород, а через некоторое время назначен губернатором Пензы. И только весной 1821 года его вернули в столицу и назначили на пост члена Государственного совета.

Еще долго говорили о Сперанском, Трубецкой все это время молчаливо слушал, а потом вспомнил и рассказал, как Николай I, подозревая Сперанского, намеревался уличить его в предательстве и послал в каземат к нему самого Бенкендорфа.

Свой рассказ несколько позже Трубецкой привел в воспоминаниях:

«Он (Бенкендорф). — Я пришел к Вам от имени Его Величества. Вы должны представить себе, что говорите с самим императором. В этом случае я только необходимый посредник. Очень естественно, что император сам не может притти сюда; Вас вызвать к

себе для него было бы неприлично; следовательно, между Вами и им будет посредник. Разговор наш останется тайной для всего света, как будто бы он проходил между Вамп и самим государем. Его величество очень снисходителен к Вам и ожидает от Вас доказательства Вашей благодарности.

Я. — Генерал, я очень благодарен его превосходительству за его снисходительность, и вот доказательство ее (показывая на кипу бумаг и писем жениных, лежавших у меня на столе и которые я получал ежедневно).

Он. — Да что это!.. Дело не в том, — помните, что вы находитесь между жизнью и смертью.

Я. — Я знаю, что нахожусь ближе к последней.

Он. — Хорошо! Вы не знаете, что государь делает для Вас... Закон предоставляет императору неограниченную власть, однако есть вещи, которых ему не следовало бы делать, и я осмеливаюсь сказать, что он превышает свое право, милуя Вас. Но нужно, чтоб и со своей стороны Вы ему доказали свою благодарность. Опять повторяю Вам, что все сообщенное Вами будет известно одному только государю. Я только посредник, через которого Ваши слова передадутся ему... Государь хочет знать, в чем состояли Ваши сношения со Сперанским.

Я. — У меня не было с ним особенных сношений.

Он. — Позвольте, я должен Вам сказать от имени Его Величества, что все, сообщенное Вами о Сперанском, останется тайной между пм и Вами. Ваше показание не повредит Сперанскому, он выше этого. Он необходим, но государь хочет только знать, до какой степени он может доверять Сперанскому.

Я. — Генерал, я ничего не могу сообщить особенного о моих отношениях к Сперанскому, кроме обыкновенных светских отношений.

Он. — Но Вы рассказывали кому-то о Вашем разговоре со Сперанским. Вы далее советовались с ним о будущей конституции России.

Я. — Это несправедливо, генерал, Его Величество ввели в заблуждение...

Он. — Берегитесь, князь Трубецкой, Вы знаете, что Вы находитесь между жизнью и смертью.

Я. — Знаю, но не могу же я сказать ложь, и я должен повторить Вам, что лицо, имевшее дерзость сообщить государю о каком-то разговоре моем со Сперанским, солгало, и я докажу это на очной ставке...

Он. — Это невозможно, Вам нельзя дать очную ставку с этим лицом...»

Император Николай I не поверил Трубецкому. Он устроил проверку самому Сперанскому, назначив его членом Верховного уголовного суда над декабристами. Это была для Сперанского своеобразная моральная пытка...

Волконский медленно шагал по комнате, внимательно слушал, но, как только разговор о Сперанском закончился, он уселся на свое прежнее место и, глядя на Раевского, заметил:

— Все это, господа, дело прошлое. Вы, Владимир Федосеевич, расскажите нам, как здесь, в Сибири, те же законы, те же порядки, что и там? К чему мы должны быть готовы? Я решил заняться сельским хозяйством, а у вас уже есть опыт.

— При слове «закон», Сергей Григорьевич, здесь всякий улыбается. Тут законы вовсе не нужны. Известное дело, где холопство как средство к возвышению, там нет места закону. Тут порядок. Генерал-губернатор приказал, полицмейстер приказал, исправник приказал — вот главный аргумент на всякое мнение... А в отношении хозяйства, которое вы намерены завести, Сергей Григорьевич, считаю делом стоящим. Конечно, без опыта вначале будет

трудновато, но со временем и опыт придет. Крестьяне здесь люди весьма порядочные, они окажут вам содействие.

Трубецкой уловил паузу между разговорами, взглянул на Раевского, спросил:

— К нам доходил слух, будто цесаревич Константин был к вам благосклонен и имел намерение освободить вас, это верно?

— Имел ли он намерение освободить меня, не знаю, но благосклонен был. Сейчас я вам покажу любопытное письмо, которое специально захватил для этого случая. Это письмо генерала Куруты, оно сильно помогало мне по пути в Сибирь.

Раевский вынул из бокового кармана сюртука кожаный бумажник, извлек оттуда лист, сложенный вчетверо, сказал:

— Вот оно! Назвав меня милостивым государем Владимиром Федосеевичем, генерал Курута сообщил мне, что его императорское величество Константин Павлович разрешил поддержать мое ходатайство о сохранении части наследства, принадлежащей мне. Но не это главное. Главное в том, что, как пишет генерал Курута. «адъютант его императорского высочества... усмотрел... что вы нуждаетесь в одежде и прочем, повелеть изволил отправить из собственных его высочества денег 500 р., полагая, что Вы по нужде Вашей не откажетесь принять деньги. Каковую волю его императорского высочества объявляю Вам и препровождаю упомянутые деньги...»

— У вас, Владимир Федосеевич, действительно уникальный документ. Константин, видимо, вас любил, — засмеялся Никита Муравьев и тут же добавил:

— Бабушка Екатерина не зря мечтала дать ему корону Греческого императора на тот случай, если будет создана такая империя...

— Я нисколько не сомневаюсь, — начал Волконский. — что Константин более порядочен и более просвещен, чем его братец Николай. Другой на его месте не отказался бы от престола, а он хорошо все взвесил и нашел, что его могут прикончить, как и отца, — отказался. Мне кто-то рассказывал, как однажды в Петербурге Константина сильно приветствовал народ, а он, ругаясь матом, велел разогнать толпу. Сопровождавший его Милорадович спросил, почему ему неприятна такая встреча. Константин ответил, что так же кричал народ, когда Кромвель вступал в Лондон, но он тогда заметил: «Когда меня повезут на эшафот, крики будут еще сильнее».

Незаметно пробежало время. В комнате стало сумрачно. Вошла Мария Николаевна. Лицо ее озаряла улыбка.

— Извините, господа, надеюсь, вы уже довольно проголодались. Милости прошу к столу, — сказала и, оставив дверь открытой, вышла в соседнюю комнату, в которой был накрыт к обеду стол. Первым поднялся хозяин, повторив приглашение жены, а потом, глядя на Раевского, шутя заметил:

— Вот когда пригодилась бы ваша медовая, Владимир Федосеевич, а вы ее охотникам подарили.

— Честно скажу вам, господа, что было время, когда в юности мы иногда кутили безо всякой на то причины, офицерское, так сказать, развлечение. Стыдно вспомнить. Водка, мне кажется, один из источников всех без исключения пороков и бед...

— Я, как лекарь, Владимир Федосеевич, с вами вполне согласен, но где же выход? — спросил Вольф.

— Только во всеобщем просвещении народа, хотя теперь это и звучит как утопия, Фердинанд Богданович, а ведь другого пути нет. Избавиться от этого зла нелегко, но надобно.

Усаживаясь за стол, Никита Муравьев поддержал Раевского:

— Со злом надобно решительно бороться, хотя Карамзин в «Истории государства Российского» проповедовал мир между добром и злом. И очень обиделся на меня, когда я сказал, что не мир, а вечная брань должна существовать между злом и благом. Добродетельные граждане должны объединиться, дабы всей силой обрушиться на пороки и заблуждения. И это ведь когда-то будет, должно ведь быть!..

Говорили обо всем. Больше всех говорил Раевский. Он давно не был в такой компании и, казалось, спешил высказать все, что наболело. Друзья хорошо это понимали, но побаивались, чтобы Раевский случайно не завел разговор о безвременно ушедшей жене Муравьева. Подобное воспоминание всегда приносило Муравьеву невыразимую боль. Но то, чего они опасались, вскоре произошло.

Раевский, из-за простого сочувствия к Муравьеву, уже к концу обеда, глядя на него, спросил:

— Никита Михайлович, вы не собираетесь в будущем перевезти «ближе к милому пределу» останки вашей супруги?

Лицо Муравьева сразу помрачнело.

— Время покажет. Но пока жив Николай, этому не бывать, не позволит, скорей всего сам останусь в сибирской земле...

Предсказание Никиты Муравьева сбылось. Автора проекта конституции, в котором «каждый русский обязан носить общественные повинности — повиноваться законам и властям отечества, быть всегда готовым к защите родины и должен явиться к знаменам, когда востребует того закон», в 1843 году в возрасте 48 лет не стало. Все декабристы оплакивали его безвременную смерть. На похороны приезжал Владимир Федосеевич.

Много лет спустя дочь Никиты Муравьева Софья, вспоминая отца, писала: «...Единственное, что уцелело вполне во мне из всего духовного наследства отца моего, — это, кроме горячей любви к моей родине, любовь к правде и отвращение ко лжи... К величайшему моему счастью, личность отца моего так светла и чиста, что мне не придется скрывать ни единого пятнышка... Он всегда до конца готов был пожертвовать и своей жизнью и даже детьми за святость своих убеждений...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«ВЕСЬ КАПИТАЛ МОЙ — ЭТО Я И МОЙ ТРУД»

Стыдиться можно и должно не какой-либо работы хотя бы самой нечистой, а только одного: праздной жизни.

Л. Н. Толстой

В первые же дни Раевского в Олонках хозяин квартиры спросил его: чем он намерен заняться? «Попытаюсь завести собственное хозяйство», — ответил тогда Раевский, хотя не имел никакого представления, как и с чего начать, твердо зная, однако, что только личный труд может спасти его от нищеты и преждевременной смерти. Труда он не страшился. Пугало, правда, отсутствие личного опыта в хозяйственных делах. И, думая об этом, он горько сожалел, что в детстве не присматривался к трудам и заботам отца. «Как бы теперь все это пригодилось», — не раз мысленно повторял он. Тягостным было и то, что вокруг — ни одного близкого или знакомого человека, с кем бы можно было посоветоваться, поделиться своими мечтами или, как он сам говорил, «облегчить душу и сердечную тягость».

*В тайный зов утраченных друзей
Меня и здесь тревожит в сновиденьи...*

Всякое было на жизненном пути Раевского. Испытал он много горечи, унижения и оскорбления, но ничто не сломило его чуткого и отзывчивого к чужой беде

сердца. Пользуясь доверием людей, Раевский начал выполнять наряды откупщиков на поставку чая и вина. Восемь лет был подрядчиком по поставке вина Александровского винокуренного завода в Иркутскую область и в другие районы Восточной Сибири, став как бы посредником между крестьянами и откупщиками, он защищал интересы крестьян.

Раевский понимал, что он невольно участвует в распространении питейного дела, став доверенным винных дел откупщиком, сильно тяготился такой «доверенностью», но иного выхода для себя не видел, другого места, где бы он мог трудиться, не было. Бывшего офицера, поэта, революционера сильно угнетал сей весьма неблагодарный труд. Но что делать? Не выходить же ему на большую дорогу. Разумеется, такие ссыльные, как Трубецкой, Волконский и им подобные, получали солидные суммы от родных или родственников, они могли и не работать. А Раевский не раз повторял: «Весь капитал мой — это я и мой труд». Кое-кто делал едкие нападки на Раевского за его неблаговидную работу. В шестом номере журнала «Развлечения» за 1860 год был помещен юмористический рисунок, а под ним надпись:

«— А, здравствуй, брат, как поживаешь? Как идет литература?

— О, я по-прежнему поэт в душе.

— Что ж ты пишешь нового?

— Отчеты в питейной конторе».

В одном из писем генерал-губернатору Раевский писал: «Откупным делом занимаюсь потому, что на руках больная жена и шесть человек детей... За 32 года постоянного усиленного труда я не приобрел необходимых средств, несмотря на то, что не один миллион прошел через мои руки».

В конце концов Раевский устал от работы и решил перейти на казенную работу с «канцелярским званием».

Подав прошение генерал-губернатору Восточной Сибири Броневскому. Тот благосклонно отнесся к этому и направил от себя ходатайство в Петербург шефу жандармов Бенкендорфу. Завязалась переписка, длившаяся более двух лет. Бенкендорф не мог самолично решить такой «сложный» вопрос, надо было получить позволение императора. Но, поскольку «Николай Павлович, — по меткому определению Герцена, — был человек, который держал тридцать лет кого-то за горло, чтоб тот не сказал чего-то», согласия дать не изволил, то и Бенкендорф молчал. Губернатор делал осторожно напоминания, просил ответа на прошение Раевского, и наконец шеф жандармов ответил:

«Как означенный Раевский подвергался... приговору за неблагонамеренные поступки к правительству, то за сим я нашел с моей стороны невозможным входить с всеподданнейшим представлением по вышеупомянутому ходатайству».

Огорченный таким ответом, Раевский обратился с просьбой к бывшему начальнику штаба 2-й армии генералу Киселеву, ставшему к этому времени министром государственных имуществ: «...Ни жена, ни дети не могли разделить прошедшей вины моей... Как отец, по священному долгу я прошу за детей моих, как крестьянин, я решился прибегнуть с просьбою к министру, которому вверено благосостояние мое... как ссыльный, я осмеливаюсь просить начальника, которому известны вина и служба мои». Далее Раевский упомянул, что болезнь и лета его не дают возможности искупить вину на поле чести, а титул канцелярского служителя хотя и не откроет путь к заслугам, но это звание сотрет титул ссыльного, что позволит детям его занять в соответствии с их способностями достойное место в обществе, не краснея за отца.

Напрасно надеялся Раевский на Киселева. Он ему не помог, а переслал просьбу Бенкендорфу. Киселев хорошо знал незаурядные способности просителя и, очевидно, побаивался, что тот, прикрываясь титулом канцелярского служителя, возродит свою антиправительственную пропаганду.

Если раньше Раевский питал какую-то надежду поступить на казенную службу, то ответ Бенкендорфа лишил его этой надежды. Встал вопрос: что яге делать? Посоветовавшись с женой и со знакомыми чиновниками Иркутска, он решил попытать счастья на хлебоборобской ниве и торговле хлебом.

Задолго до наступления весны начал строить теплицы и парники. Сельский священник Сперанский уважительно относился к поселенцу и часто восхищался его трудолюбием. Увидев теплицу, полюбопытствовал:

— Владимир Федосеевич, позвольте спросить, что вы задумали?

— Буду выращивать арбузы и дыни.

Святой отец был сильно удивлен затеей поселенца, открыто посмеялся над ним, посоветовал не бросать деньги на ветер. Не нашел он поддержки своему начинанию и у пожилых, многоопытных крестьян села, единодушно считавших дело гиблым.

Раевский всех внимательно выслушивал и продолжал свое дело. А два года спустя в одном из писем он сообщал:

«Снимаю ежегодно 150 отличных арбузов и дынь до 100 штук».

Казалось, все шло у Владимира Федосеевича хорошо, но приключилась болезнь печени. С каждым месяцем здоровье ухудшалось, и он снова отправился в Урик к доктору, декабристу Вольфу, о котором по всей Сибири шла добрая слава как о «исцелителе от всех хворей». Об этой встрече Вольф писал Фонвизину: «Я

видел Раевского, он рассказывал мне свое удовольствие при встрече с Вамп, он нарочно приезжал со мною видаться — больной человек, все так же тверд и основателен, любо на него смотреть».

По совету Вольфа Владимир Федосеевич поехал на только что открытые Туранско-Иркутские воды на реке Икаугун. Лечение повторил трижды и воспрял духом: он поправился. В письмах к Батенькову рассказал: «Девять лет был болен затвердением печени, 9 лет ожидал смерти. А потом понял, что жизнь без этих физических страданий была бы не полна». На Туранских минеральных водах в 1840 году Раевский написал «Думу»:

*Шуми, шуми. Икаугун,
Твой шум глухой, однообразный
Слился в одно с толпою дум,
С мечтой печальной и бессвязной!*

.....

*Текут вперед изгнанья годы,
Все те же солнце и луна,
Такая ж осень и весна,
Все тот же гул от непогоды.
И та же книга прошлых лет,
В ней только прибыли страницы,
В умах все тот же мрак и свет.
Но в драме жизни — жизни нет,
Предмет один, другие лица...*

Созерцание мощного водопада Икаугупа, гряды гранитных стен и гор. «дикого леса» — все приводило Владимира Федосеевича к размышлениям о величии и вечности природы и о краткости человеческой жизни. Всех людей на земле он считал временными пришельцами. И постоянными жильцами могилы. В

своих философских рассуждениях он не раз подчеркивал, что не умирает лишь тот, кто оставляет после себя добрую память.

В течение девяти лет Раевский занимался хлебопашеством. Случались неурожайные годы, но он всегда был готов к ним: от предыдущих лет приберегал хлеб и корма для скота. Если бы на крестьян не начали налагать «безбожный насильственный налог и устанавливать произвольные цены за хлеб, не окупившие труда», то Раевский продолжал бы заниматься хлебопашеством, тем более что в губернаторстве он имел славу деятельного и добросовестного человека, пользовался доверием как знаток края и его нужд. Чиновник особых поручений Струве, вспоминая о закупке хлеба в казну, писал: «Порученные нам закупки совершались успешно... В исполнении этого поручения оказал мне лично большую помощь В. Ф. Раевский по близкому знакомству его с крестьянскими обществами... Проездом через село Олонки я постоянно заезжал к нему, и он снабжал меня своими советами и указаниями».

«Безбожный налог» и очень низкие цены на хлеб, не окупавшие затраченного труда, заставили Раевского бросить хлебопашество, искать другие средства для существования. Найти место для приложения своего труда было непросто. На казенную службу его по-прежнему не брали. А что еще можно делать в глубоком сибирском селении, оторванном на сотни верст от городов? Зная большие организаторские способности поселенца, купец Белоголовый порекомендовал ему работу по найму двух тысяч рабочих для Бирюсинских золотых промыслов и непосредственный расчет с ними. Работа была трудной и опасной. Найти такое количество рабочих — дело непростое, а большие суммы денег, которые постоянно возил с собою Раевский, создавали реальную угрозу быть

ограбленным и убитым. Но другого выхода не было. Раевский рискнул.

В течение трех лет, с ноября по март, в любую погоду, днем и ночью можно было встретить Раевского верхом на лошади в самых отдаленных и глухих местах. В поисках желающих работать на золотых промыслах он покрыл тысячи верст по населенным пунктам Сибпри. А в июне для расчета сам выезжал на промысел. Туда и обратно — 500 верст. Знакомые удивлялись его смелости, а жена каждый раз, провожая его, горько плакала. И то, чего она так боялась, однажды свершилось. Разбойники напали на него. Вначале Раевский отстреливался, пытаясь уйти от погони, но, когда под ним была убита лошадь, бандиты схватили его. Отобрали остаток денег, сняли костюм и сапоги, а самого изрядно избили. «Убийцы не dokonчили убийства, но истязали меня жестоко», — рассказывал потом Раевский.

Долгие недели он не поднимался с постели, а когда поправился и снова решил продолжать прежнее дело, Авдотья, упав перед ним на колени, заголосила:

— Володенька, не оставляй нас. Пожалей детей. Чует мое сердце, что ты погибнешь и нас погубишь. Заклинаю тебя, оставь эту проклятую работу...

— Хорошо, я подумаю...

Думать Владимиру Федосеевичу долго не пришлось. В тот же день, вечером, по просьбе Авдотьи в дом к Раевским под предлогом провести пришло несколько крестьян села, которых особенно уважал Владимир Федосеевич. Крестьяне слезно просили Владимира Федосеевича бросить «золотое дело». И не ушли до тех пор, пока Раевский не дал им слово, что оставит опасную работу.

Авдотья тревожилась не зря. Вскоре после этого на ее отца, возвращавшегося из Иркутска, тоже напали грабители. Отобрали лошадей и все, что он вез, а в

самого дважды выстрелили и бросили на дороге. Чудом выжил отец, но остался без ног и одного глаза...

Владимир Федосеевич ждал гостя. Воскресный день близился к концу, а обещавшего приехать Пущина все не было. Особенно печалилась Авдотья Моисеевна: зря наготовила разных кушаний. Несколько раз спрашивала мужа, не перепутал ли он день приезда гостя.

— Наверно, захворал наш Иван Иванович, человек он очень аккуратный. — уже вечером выразил предположение Владимир Федосеевич.

Его догадка подтвердилась. На другой день Раевский получил письмо, в котором Пущин уведомлял, что недомогает. В письме также сообщил, что в воскресенье его товарищи ездили в Иркутск в Знаменскую церковь отпевать Михаила Орлова, скончавшегося 19 марта 1842 года в Москве.

Первым о смерти Орлова узнал Волконский, его московская родственница сообщила ему эту тягостную весть: «Никогда в Москве... ни одна смерть не вызывала такого всеобщего сожаления, как смерть Михаила Орлова. Было такое впечатление, что каждая семья потеряла любимого родственника. И это было искреннее сожаление, исходившее от сердца», — писала она.

Печальная весть поразила Владимира Федосеевича, искренне любившего Орлова за его неумную энергию, за его страстную ненависть к рабству, к поработителям.

Несколько дней Раевский не мог ни на чем сосредоточиться. Все, как говорят, валилось из рук, так тяжело он переживал смерть Орлова. Вспоминал и рассказывал жене о совместной службе с ним в Кишиневе, о разгроме Кишиневского управления Южного общества.

Перед его мысленным взором неотступно стоял молодой, решительный, умный генерал, так рано

закончивший свое земное бытие. Из рассказов Трубецкого Раевский знал, что накануне восстания 14 декабря с письмом к Орлову в Москву был отправлен нарочный. Орлова просили срочно прибыть в Петербург, ему предназначалась роль диктатора восстания. Теперь Раевский был убежден, что если бы Орлову довелось возглавить восставших, дело приняло бы совершенно иной оборот. Орлов не остановился бы на полпути, а его родной брат Алексей наверняка не успел бы повести своих конногвардейцев на каре восставших. И не было бы горестных слов самого Раевского в письме к Батенькову: «...ожидания, мысль, видения ваши — были детская ошибка. Большое, огромное, дипломатическое дело, дело всего человечества, в руках воспитанников театральной школы и дирекции».

За два месяца до смерти Герцен видел Орлова, а когда узнал о его смерти, то в дневнике записал: «Я посылаю за ним в могилу искренний и глубокий вздох. Несчастное существование оттого только, что случай хотел, чтобы родился в эту эпоху и в этой стране».

Раевские всегда радовались гостям, особенно тем из них, кого власти именовали «государственными преступниками». Сожалели, что из-за болезни не приехал, как обещал, Пущин. Ждали от него письма, но однажды утром Авдотья Моисеевна, услышав шум на улице, взглянула в окно и увидела возле ворот коляску. Узнала Пущина, взволнованно позвала мужа:

— Володя, иди встречай гостей. Иван Иванович с кем-то пожаловал. А в доме что творится!..

Владимир Федосеевич был в соседней комнате, просматривал новый номер журнала «Благонамеренный». Вышел на улицу в тот момент, когда гости подходили к дверям дома.

— Принимайте незваных гостей, — сказал Трубецкой хозяину дома.

— Всегда желанные, всегда званые, — поправил его Раевский и, поздоровавшись, протянул руку в сторону дверей: — Милости просим, господа...

Первым шагнул в дом Пущин, но на пороге почти столкнулся с хозяйкой дома. Авдотья Моисеевна нечаянно уронила кувшин молока.

— Ничего не случилось, любезная Авдотья Моисеевна. Всю вину беру на себя, — улыбнулся Пущин и взял руку растерянной хозяйки, поднес к губам, потом, указывая глазами на Трубецкого, сказал: — Знакомьтесь, это князь Трубецкой, наверное, фамилию эту слышали.

— Сергей Петрович. — учтиво склонил голову Трубецкой, — извините, что вторглись к вам без предупреждения.

— Что вы, что вы, мы очень рады вашему приезду, — молвила хозяйка и, извинившись, метнулась на кухню за тряпкой, а гости и хозяин любовались большим черным котом, подбежавшим к молочной луже.

Как часто случается, вначале хозяева и гости, не найдя общей темы для разговора, ограничивались общими фразами.

— Бой посуды — добрая примета; с древних пор так сказывают, а тут посуда, да еще с молоком — на добро, только на добро, — заметил Трубецкой.

Хозяйка лукаво взглянула на мужа:

— А вот Владимир Федосеевич прежде несколько не верил в народные приметы, а сегодня утром увидел, как кот умывается, сам сказал: «Надо гостей ждать».

Напоминание о народных поверьях вызвало одно воспоминание у Пущина, он поспешил им поделиться:

— Господа, теперь я достоверно знаю, что Пушкин изменил своему желанию приехать в Петербург по моему приглашению в декабре двадцать пятого года из-за того, что, когда он выехал из Михайловского, дорогу ему перемахнул заяц. Пушкин был суеверен и

возвратился домой. Не случись этого. Александр Сергеевич вполне мог со мной оказаться четырнадцатого декабря на Сенатской площади. Я даже убежден, что так бы и было.

— Весьма возможно, разделив вашу участь, он остался бы жить до сих дней, — заметил Раевский.

— Нет, — возразил Пущин, — я уверен, что такая жизнь, в которой впоследствии оказались мы, иссушила бы его могучий талант, и мы не имели бы того Пушкина, которого нам судьба подарила...

— Может быть, может быть, — согласился Раевский и рассказал друзьям то, что позже записал в своих воспоминаниях: «Я Пушкина знал как молодого человека со способностями, с благородными наклонностями, живого, даже ветреного. Его я любил по симпатии и его любви ко мне. В нем было много доброго и хорошего и очень мало дурного. Он был моложе меня пятью или шестью годами. Различие лет ничего не составляло. О смерти его я очень сожалел, и, конечно, столько же, если не более, сколько он о моем заточении и ссылке».

— Когда в последний раз я посетил Пушкина в Михайловском, — продолжал Пущин, — в разговоре мы незаметно коснулись подозрений на счет тайного общества. И тогда я сказал ему, что я не один поступил в это новое служение отечеству. Он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это связано с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать».

Слова Пущина растревожили Владимира Федосеевича, и он, желая уйти от грустного разговора, предложил:

— Господа, может, оставим хозяйку на время одну, пусть она займется подготовкой обеда, а мы тем временем совершим небольшую прогулку к полноводной Ангаре? Не грешно взглянуть и на мой

запахший весной сад. Вам, Иван Иванович, все это знакомо, а для Сергея Петровича в новинку.

— Если Авдотья Моисеевна не возражает, то во мне может приобрести достойного помощника по части кулинарной. — улыбаясь, предложил Пущин.

— Помощники у нее отыщутся, Иван Иванович, а мы пойдем прогуляемся: день сегодня чудесный, — настаивая, хозяин шагнул к дверям.

Гости и хозяин вышли во двор и, повернув палево, по тропинке вошли в сад.

— Так вот какой у вас сад! — восхищенно протянул Трубецкой, разглядывая лиственницы, красивые приземистые ели и совсем незнакомые ему кусты.

— Сибирский, вечно зеленый. Могу заверить вас, господа. что в здешних местах другого такого сада вы не отыщете, — горделиво заявил Раевский. — Крестьяне во многом помогли. Бог весть откуда деревья привозили...

— Вы, Владимир Федосеевич, не сказали главного достоинства вашего сада, — заметил Пущин и постучал по стволу лиственницы, — ведь она способна простоять многие десятки, а то и сотни лет. Эта красавица будет радовать людям глаз и тогда, когда от нас праха не останется... Владимир Федосеевич оставит после себя прекрасный памятник, не то, что мы, — как бы сожалея закончил Пущин.

— Я, Иван Иванович, об этом никогда не думал. Единственное, чего желаю после себя, так это счастья моим детям, благополучия всем добрым людям... Лучшей доли нашему измученному трудовому люду...

— Все это нам понятно, милый Владимир Федосеевич, но, скажите на милость, откуда придет благополучие? Нищета и невежество подружились, и как будто надолго, — вслух размышлял Пущин. Трубецкой участия в разговоре не принимал. Он все время думал о своей больной жене.

Раевский посмотрел по сторонам и, словно убедившись, что их никто не слушает, продолжил:

— Я убежден, что дело, которое мы так неудачно пытались осуществить, не только возродится, но и когда-то получит успех...

В это время во двор Раевского зашел приехавший из губернии чиновник. Разговор прекратился.

По Петербургу распространялись слухи о болезни Николая I, однако истину мало кто знал. Но вот 18 февраля 1855 года в столичных газетах появился «Бюллетень № 1» о здоровье императора, в котором сообщалось, что «Его величество заболел лихорадкой». 19 февраля новый бюллетень извещал об усилении болезни, «что делает состояние его высочества опасным», а 26 февраля опубликован манифест о кончине императора...

В Западной Европе писали, что русский император умер еще 18 февраля. Смерть 58-летнего Николая была неожиданной почти для всех. Разнеслись слухи, что царь или отравлен, или покончил самоубийством.

Известно, что 12 февраля во дворец была доставлена весть о поражении русских войск под Евпаторией. Герцен иронически заметил, что император умер от «Евпатории в легких». Хотя смерть Николая I остается загадкой и поныне, но тогда немногие утирали слезы. Большинство тайком поздравляли друг друга.

65 декабристов, упрятанных в Сибирь, пережил Николай I, а то меньшинство, что осталось, надеялись на помилование. Но последние слова умирающего императора, опубликованные в приказе наместника, — «Благодарю славную верную гвардию, спасшую Россию в 1825 году, равно храбрые и верные армию и флот» — подорвали эту надежду. «Мои кости останутся в Сибири, — писал Волконский сыну. — О себе не горюю — накликал на себя этот удар, родина и убеждения

были причиной моего немалого самопожертвования... О себе не сетую; чем более испытал, тем в самом себе я становлюсь выше...»

В свою очередь, делился своими воспоминаниями о первых днях царствования Александра II Пущин: «Бесцветное какое-то начало нового царствования. Все мерзко раболепствует, публично иногда целуют руки царя...»

Отношения декабристов к тридцатилетнему царствованию Николая I четко определил Владимир Федосеевич, сказав, что «30 лет Россия не жила, но судорожно двигалась только под барабанный бой».

Известно, что Николай I всегда стремился к увеличению тюрем в своем государстве, он даже был намерен внести некоторые новшества в это дело. Будучи в Лондоне, осмотрел тюрьму с камерами-одиночками. Она ему понравилась, и он загорелся желанием построить подобные тюрьмы в России. По возвращении домой вызвал министра внутренних дел и поручил начать строительство таких тюрем в столице, а потом и в других местах. Министр подсчитал, что предполагаемое строительство 75 тюрем обойдется казне в 23 миллиона серебром, сумма по тем временам огромная. Тогда царь утвердил особый комитет для изучения этого вопроса.

Но теперь Николая уже не было, а обстановка складывалась так, что новый император вынужден был объявить амнистию декабристам. Что он и сделал. Декабристам было возвращено потомственное дворянство, дозволено возвратиться в Россию, кроме двух столиц: Москвы и Петербурга. К сожалению, «милость» пришла слишком поздно: в живых осталось только человек сорок. Около ста уже погибли. Могилы их разбросаны по всей Сибири.

«Не грустно умереть в Сибири, но жаль, что из наших общих опальных лиц костей не одна могила.

Мыслю об этом не по гордости, тщеславию личному: врозь мы, как и все люди, пылинки; но грудю кости наши были бы памятником делу великого, при удаче для родины, и достойного тризны поколений», — писал Волконский.

Обремененный различными заботами, Раевский все реже и реже вспоминал дни минувшие. Время сглаживало, затуманивало былые радости и невзгоды. Единственное, что отчетливо хранила его память, — это дружба с Батеньковым. Более двадцати лет он ничего не знал о нем. Доходили только различные слухи. Даже говорили, что он был отправлен на Соловецкие острова и там покончил с собою. Но Владимир Федосеевич не верил слухам, он надеялся, что его любимый друг Гавриил жив и, быть может, они еще встретятся.

Ах, как бы порадовался Раевский, если бы знал, что еще во время следствия над декабристами его друг смело заявил: «Тайное общество... не было крамольным, но политическим... Оно состояло из людей, коими Россия всегда будет гордиться... Покушение 14 декабря не мятеж... но первый в России опыт революции политической... глас свободы раздавался не долее нескольких часов, но и то приятно, что раздавался». Но время шло, а о нем, как говорят, ни слуху ни духу.

И вдруг неожиданное: в иркутской газете появилась маленькая заметка, извещающая, что «в Томск доставлен бывший подполковник, декабрист Гавриил Батеньков».

Первым об этом узнал Пущин и, не медля ни часу, отправился в Олонки, дабы обрадовать Раевского.

Добрался поздно ночью, когда Раевские спали. Постучал в окно:

— Владимир Федосеевич, это я, — ответил Иван Иванович на вопрос Раевского.

«Что-то случилось», — подумал Владимир Федосеевич и, встревоженный, пошел открывать дверь.

Как только Пущин ступил в дом, он, не дожидаясь, пока хозяин зажжет свечу, обнял его, радостным голосом извещил:

— Ни за что не угадаете, Владимир Федосеевич, какую радость я вам привез!

— Если радость, то спасибо, Иван Иванович, а догадаться действительно мудрено.

— Батеньков объявился! — выпалил ночной гость.

Эта весть настолько взволновала Раевского, что он на какой-то миг, казалось, остолбенел, но тут же спохватился:

— Не может быть...

Пущин достал из кармана газету и прочитал заметку.

— Это действительно радость, — сказал Раевский, — за нее позвольте вас обнять.

В тот же день Раевский отправил письмо Батенькову в Томск и с нетерпением ждал ответа, но прошли все сроки, а ответа не последовало, не было его и на второе письмо. Раевский забеспокоился: не обиделся ли друг юности на него?

Наконец ответ пришел. Коротенькое письмо, всего несколько строк, в котором Батеньков выразил благодарность Раевскому за память и попросил его подробно написать все о себе, а в качестве оправдания за задержку ответа написал: «Я был дик, отвык жить и едва говорил».

Случилось так, что в августе 1848 года из Иркутска в Томск выехал знакомый Раевского, с ним он послал письмо-исповедь другу: «Я получил твое письмо от апреля. Что я чувствовал, ты можешь себе представить, слезы долго мешали мне читать, дети должны были успокоить мое нетерпение. Когда я мог уже читать сам, я прочитал его несколько раз... Я выпрашивал, испытывал каждое слово, я видел в каждом слове самого тебя... и не сердился, но был печален — зачем

письмо твое состояло из трех страничек? Я не мечтатель; время разъяснило, опыт высказал нам обязанности наши на земле... Я не сожалею о прошедшем! У меня 6 человек детей: 2 дочери и 4 сына... Я смотрю на них с извинительным самолюбием, с надеждою, что мысль моя останется после меня на земле...»

Далее Раевский сообщил, что в 1819 году он вступил в Союз общественного благоденствия, был арестован в 1822 году и четыре года пробыл в крепости Тираспольской, а потом восемь месяцев в Петропавловской крепости и с лишком год в крепости Замостье. Четвертый заочный суд определил ему ссылку, которую подтверждал Михаил Павлович. «Ты поймешь еще лучше весь ход дела, если я подкреплю несколькими стихами из тех немногих дум, которые я писал в крепостях и в ссылке: смысл содержания всех этих судов и судей —

*Слились в один простой вопрос:
«Ты людям славы зов мятежный,
Твой ранний блеск, твои надежды
И жизнь цветущую принес, —
Что ж люди?» С чистою душой,
О добродетель, не искал
Я власти, силы над толпою,
Не удивленья, не похвал
От черни я безумной ждал, —
Я не был увлечен мечтою. —
Я был весь твой и жил тобою,
Что скажут люди, я не знал!*

Это смысл моей жизни... Все, кто знал тебя, считали тебя умершим в Шлиссельбурге... Эта неизвестность, тайна у дверей, мысль, что никто в мире не знает, где я,

что я — тяжелее в заключении, 20 лет! О друг мой, понимаю твою гробовую жизнь!.. Россия, по моему мнению, мало отошла от России времени Иоанна Грозного. Наружный лоск, лакировка кожи не доказывает прочности...»

Раевский счел необходимым посвятить друга также в текущие сибирские дела. «В твоё время было два губернатора... в настоящее время шесть губернаторов... На всю Восточную Сибирь одна гимназия... Газеты в руках высшего произвола, а литература! Бедная литература! Журналистов я считаю за агентов полиции... Уверяю тебя честно, что никогда в продолжение всей моей жизни в Сибири взятки и насилия не были так явно и ощутительно развиты, как в настоящее время...»

Воспользовавшись амнистией, те из декабристов, кому было куда возвращаться, начали собираться в дорогу. Но были и такие, у кого не осталось в России ни родных, ни близких, да и средств не было, чтобы отправиться в далекий путь.

Владимир Федосеевич принадлежал к последним, хотя живы были еще его сестры. Обремененный большой семьей, не имея нигде в России пристанища и средств, он не решился покинуть Сибирь, ставшую для него второй родиной. Но какая-то неодолимая сила тянула его туда, целиком захватила мечта последний раз в жизни посмотреть на родные места...

«Мне хотелось взглянуть на Россию, — писал он. — Я не видел ее 36 лет, то есть, считая шесть лет крепостного заключения и 30 лет ссылки в Сибири. Мне хотелось увидеть моих родных сестер, поклониться праху отца и матери, посмотреть на отцовский дом, в котором я родился и вырос, Москву, Петербург, и, наконец, в 1858 году я решился...»

И хотя, как говорил Раевский, было накладно, посоветовавшись с женой, решил взять с собой в это необыкновенное путешествие сына Юлия, адъютанта генерала Корсакова, показать ему «свет». Как офицеру, Юлию был предоставлен отпуск на четыре месяца. Двадцатого мая они уже были в пути. Во многих сибирских городах, через которые проходил их маршрут, жили знакомые Владимира Федосеевича. С ними он там встречался, и это обстоятельство делало далекий путь не скучным. Везде принимали Раевских тепло и сердечно, и это немало удивило Юлия. Он сказал об этом отцу. Владимир Федосеевич радостно улыбнулся и открыл «секрет» сыну:

— Надобно любить людей, и они отплатят тем же. Правда, иногда могут быть исключения. Я всегда радуюсь судьбе, которая дает мне способ видеть людей, у которых я могу чему-то поучиться, услышать слова, полезные для себя. И радуюсь этому. Я желаю, Юлий, чтобы и ты в таких случаях испытывал подобное чувство.

Особенно желаемая, но горькая встреча произошла в Нижнем Новгороде с военным губернатором Александром Муравьевым — товарищем по службе и ссылке в Сибири. Его жена, Прасковья Михайловна, с которой семья Раевских была в самой искренней дружбы и которая доводилась крестной матерью старшей дочери Раевских, Александре, несколько лет назад умерла. Узнав, что Владимир Федосеевич остановился в гостинице, к нему в тот же день пожаловал сам губернатор Муравьев. Об этой встрече Раевский записал: «Он выехал из Сибири свежий, полный, красивый. Ко мне вошел старик, сухорлявый, волосы на голове и усах были совершенно белые, сгорбившись, прихрамывая на одну ногу. Он был развалиной. Мне сделалось тяжело...» Говорили долго.

Вспоминали юные годы, говорили о несбывшихся мечтах и надеждах...

К радости Владимира Федосеевича, в Москве он застал друзей по изгнанию: Сергея Волконского, Матвея Муравьева-Апостола и Александра Муравьева. А когда собрались все вместе, к ним присоединились и старые друзья по Кишиневу — младший брат Ивана Липранди Петр, теперь уже генерал, ставшие крупными сановниками писатель Вельтман, Горчаков.

«Было о чем говорить, — вспоминал потом Раевский. — Прошлых тридцать шесть лет как не бывало».

Уже под конец вечера Липранди спросил Раевского:

— В Кишиневе, Владимир Федосеевич, вы писали стихи. Я даже помню, как часто вы спорили с Пушкиным; теперь не пишете?

— Работа отнимает все время, но иногда все же пишу, правда, издателям не отправляю. Можно сказать, для себя...

В тот же вечер Липранди согласился взять Юлия к себе в адъютанты, чему очень обрадовался не только Юлий, но и его отец.

Во избежание всяких неприятностей Раевский написал прошение шефу жандармов Долгорукову о «милостивом разрешении въезда в г. Санкт-Петербург на восемь дней по семейным делам. Но, зная распоряжение о запрещении въезда не только в столицы, но и в губернии столичные, я приехал в Павловск, почему и прошу покорнейше ваше сиятельство простить мне эту невольную ошибку...»

Прошение Раевского повез Юлий. Но даже шеф жандармов не имел права удовлетворить просьбу Раевского, не получив на то согласия лично императора.

19 июля «высочайшее» разрешение получено. Одновременно было дано распоряжение «к учреждению за дворянином Раевским во время пребывания в Санкт-

Петербурге негласного наблюдения» со стороны корпуса жандармов. Такое же предписание было отдано в Павловск.

Во время пребывания в Петербурге Раевский встретился с Иваном Липранди. Владимир Федосеевич ничего не знал о подлинных делах друга молодости и попросил его вступить в ходатайство перед императором о разрешении ему поступить на государственную службу. Для возбуждения ходатайства Липранди попросил Раевского написать «Собственноручную автобиографическую записку». Владимир Федосеевич написал что требовалось, но на государственную службу его не взяли.

Двойственность личности Липранди кто-то сумел отразить в эпитафии на его могиле:

*Я к истине искал пути,
Но к ней никак не мог добраться,
И, бросив руль своей ладьи,
Давал о скалы разбиваться.*

Впервые в жизни от Москвы до Петербурга Раевский ехал поездом. Свой восторг он выразил так:

«До Петербурга 20 часов езды! И какое удобство: сидишь, можешь заснуть, читать, разговаривать, знакомиться, хорошо пообедать, не бояться ни дождя, ни грязи, ни остановки на станциях, ни грубости ямщиков и притеснений на почтах...»

Раевский был вполне доволен своей поездкой на родину. Он не подозревал, что его подстерегала неприятность и только чисто случайно миновала. Еще когда он проезжал через Красноярск, об этом узнал титулярный советник Голенищев-Кутузов, бывший нижеудинский городничий, более полугода ждавший отставки. Этот негодяй, чтобы напомнить о себе

начальству, послал донос о том, что Раевский имеет намерение «уехать за границу с неправильным видом».

К счастью, донос был получен, когда Раевский уже был на пути в родную Хворостинку.

О своем намерении посетить родину Раевский заблаговременно уведомил сестер и двоюродного брата Владимира Гавриловича, жившего в двух верстах от Хворостинки в селении Богуславке.

Весть о приезде сына всем известного дворянина Федосия Михайловича. Владимира, быстро распространилась в обоих селениях. Старшие жители этих сел хорошо помнили, как ими опального Владимира в свое время произносилось шепотом. Как ни старался Федосий Михайлович скрыть тогда от людей, что его сын заключен в Тираспольскую крепость, ему это не удавалось. Не зная истинной причины, злые языки слагали о Владимире различные легенды, и когда они доходили до утомленного жизненными невзгодами Федосин Михайловича, тот в долгие бессонные ночи мысленно корил любимого сына за то несчастье, что он принес ему и всеми почитаемой фамилии Раевских. На Федосия Михайловича навалилась лавина горн. В 1810 году от чахотки умерла жена, несколько лет спустя эта же болезнь унесла в могилу его старших сыновей Александра и Андрея. В одночасье постарел и осунулся Федосий Михайлович, арест же и заключение в каземат любимого сына Владимира окончательно надломили его. Он лишился надежды, и вскоре смерть преждевременно унесла его.

Прошло более тридцати шести лет с тех пор, как Владимир Федосеевич еще юным оставил Хворостинку. Сейчас он был на пути к ней. Все эти годы он испытывал потребность поклониться этой земле. Была, правда, и тайная надежда: в Хворостянке остаться доживать последние годы и лечь в землю рядом с родителями.

В этот год было знойное лето. Приближалась пора уборки хлебов. Коляска, в которой ехали Владимир Федосеевич и Юлий, монотонно грохотала по сухому наезженному большаку. С обеих сторон созревали хлеба. Солнце стояло в зените, когда путники подъехали к последней почтовой станции. Остановились сменить лошадей и пообедать. Эту станцию Владимир Федосеевич помнил с детских лет. Присмотревшись, сказал сыну:

— А знаешь, Юлий, здесь все по-прежнему, даже вот тот мордастый чиновник, что сидит у открытого окна, будто тридцать шесть лет так и не отходил от него... Странно... Каждый раз, когда я летом возвращался на каникулы в село, то обыкновенно здесь, на этой станции, меня встречал отец. Мне и сейчас кажется, что вот-вот из-за того домика, что у дороги, выскочит его тройка рысаков...

Воспоминания по-особому тревожили сердце Владимира Федосеевича, но сына они не волновали. Этот край, эта земля для него незнакомы, чужие. Его мысли были там, далеко в Сибири, где родился и вырос и где осталась его любимая девушка. Но чтобы поддержать разговор, безразлично спросил:

— Дед сам правил лошадьми, как ты?

— Нет, конечно, у него кучер был. — И, немного подумав, добавил: — Не знаю, говорил ли я тебе когда-нибудь, что у отца была замечательная библиотека на французском и немецком языках. Много книг. Среди местных дворян отец слыл самым образованным человеком, за что они не раз избирали его своим предводителем. Отец много читал и этому нас с детства приучил. Радовался всему передовому. Я уже был в каземате, когда летом 1822 года мне друзья принесли журнал «Отечественные записки», в котором была опубликована статья отца. В ней он рассказывал об одном предводителе дворянства, который был

человеколюбивым и взял на обучение за свой счет первоначально десять человек, а потом еще шесть из числа тех детей, родители которых не были в состоянии обучать их. А еще увлекался отец собирательством редких старинных предметов, украшавших его усадьбу и дом. На всю жизнь мне запомнился один любопытный случай. Отец дружил с богословским помещиком Старовым, большим любителем карт и псовой охоты. Не помню точно, но собак у него было не менее двадцати. Однажды, будучи в гостях у Старова, отец обратил внимание на «каменную бабу», валявшуюся у людской избы. Дворовая челядь использовала ее как скамейку для посиделок. То было изображение скифского божества, древнее каменное изваяние женщины из серого песчаника высотой где-то около двух метров. Этот памятник седой старины, Юлий, можно и сейчас иногда встретить на древних степных курганах. Своим величавым спокойствием они поражают спутников, храня тайну многовековой истории. Они помнят времена золотоордынского нашествия и других былых времен. Население окрестило их «каменными бабами». Им приписывают сверхчеловеческую силу, о них ходят разные суеверные толки.

Им поклоняются, а проходя мимо, снимают шапки, кое-кто целует их. От Старова отец узнал, что «истукана» — так он называл «бабу» — ему привезли много лет назад из урочища Жерновки, где он простоял, наверно, по одну тысячу лет. Для Старова изваяние никакого интереса не представляло, пока отец не высказал желание приобрести у него «истукана». Категорическое «нет!» было ответом Старова на различные предложения. У отца был прекрасный конь по кличке Амур, он очень нравился Старову. Недолго думавши, отец в горячке предложил обменять Амура на «истукана», но Старов и на это не согласился.

Рассказ Владимира Федосеевича неожиданно прервал кучер, объявивший, что лошади заменены и он готов продолжить путь.

— Пошли, Юлий, потом продолжим, — сказал отец и, взяв сына под руку, повел к коляске. Он погрузился в свои воспоминания и позабыл о рассказе. Некоторое время ехали молча, пока Юлий не спохватился:

— Так чем же закончилась эта история с «бабой»? Состоялся обмен?

— Нет, не состоялся, хотя пару недель спустя «каменная баба» была уже в нашем дворе...

Юлий недоуменно поглядел на отца:

— Как же так?

— Очень просто, он выиграл ее в карты. Был какой-то местный праздник, кажется «Андрианы». Старовы гостили у нас. После хмельного застолья женщины ушли в сад, а мужчины засели за карточный стол. Пару часов спустя Старов сильно проигрался, денег у него больше не было. В азарте он поставил на кон «бабу», оценив ее соответствующе. В тот же день Старов доставил своего «истукана» к нашему двору. Отец спешно против окон своего кабинета соорудил курган и водрузил на него «Скифскую царицу». Так он начал именовать «бабу». Он часто любовался ею. Особенно красивой она казалась ночью, озаренная дрожащими бликами луны и тенями, бегающими по ее лицу, придававшими ей особое очарование. Хороша была она и под лучами заходящего и восходящего солнца. «Именно в это время надо смотреть ее. Днем не то», — частенько говаривал мне отец. Вот тут-то все и началось. По селу пошли разные толки о нашей «царице», как теперь звали «бабу» мы с отцом. Кто-то уже видел ее темной ночью, как она купалась в Орлике. Другие слышали ее тоскливую и зловещую песню, видели, как она ночью летала над домами. Разные небылицы о ней сочиняли.

За «бабой» утвердилась репутация ночной колдуньи. Все случавшиеся несчастья приписывали ей. Повсюду только и разговоров было, что о «колдунье». О ней уже знали в соседних селах, откуда иногда приходили любопытные и, взглянув на нее, крестились.

Мать наша была женщина грамотная, но очень мнительная. К тому же она была слабогруда, как звали больных чахоткой. Ей с первого взгляда не понравилась «колдунья», из-за чего произошла небольшая размолвка с отцом. На ее суеверные замечания отец только улыбался, иногда и подшучивал над нею. Но вскоре суеверные страхи овладели всей дворовой челядью. Дворовым девкам так же, как и матери, начали сниться страшные сны, в которых неизменно присутствовала «колдунья». Начался какой-то психоз. Напуганная страхами, не поднималась с постели мать. И тогда отец призадумался. Он отправился в Старый Оскол и привез врача. Ознакомившись с обстановкой, врач посоветовал отправить хозяйку в путешествие «для отвлечения от злых мыслей», а «бабу» хотя бы на время убрать. В дело «колдуньи» вмешался святой отец, он посоветовал для «избавления от злых духов» позвать кузнеца и велеть ему молотом разбить «колдунью» на мелкие части, тогда она потеряет колдовскую силу.

К чести отца, он не смог так поступить. Но, отдавая дань предрассудкам, однажды ночью вывез «колдунью» со двора и где-то закопал, а курган у дома разровнял. Он надеялся позже извлечь ее и поставить на прежнее место. Где, в каком месте нашла прибежище «колдунья», никто, кроме отца и двух пожилых дворовых, не знал. Даже от меня отец скрыл то место. Утром мать выглянула в окно и, не увидев «колдуньи», сразу преобразилась. Ей стало лучше, она поднялась с постели, а в обед уже сидела за столом в кругу семьи. Радовались соседи и челядь. Потом еще долго по селу продолжали ходить легенды, но постепенно и они

прекратились. И только в 1810 году, когда умерла от чахотки мать, злые языки ее смерть приписывали «колдунье». Находились даже «очевидцы», видевшие, как она ночью выпрыгнула из окна спальни матери...

На этом месте Владимир Федосеевич прервал рассказ. Коляска сошла с большака, повернула вправо, на полевую дорогу.

— Остановитесь, пожалуйста. — сказал Владимир Федосеевич. А когда коляска остановилась, он медленно сошел с нее, сделав несколько шагов от дороги, опустился на колени и поцеловал землю.

— Здесь начинается земля, на которой я родился и вырос, — пояснил Владимир Федосеевич, возвратясь к коляске.

Он помнил это поле, знал эту землю с детства, запах ее трав, шелест хлебов и голубое небо над ними. Волнуясь, Владимир Федосеевич продолжил рассказ:

— Здесь, на этом поле, сынок, я впервые близко прикоснулся к тяжелой доле крепостных крестьянок. Однажды, в пору уборки хлебов, отец взял меня с собой в поле. Женщины жали рожь. В лохмотьях, босые, измученные, под палящим солнцем, они весь день не разгибали спин. Рядом под копнами или просто на стерне сидели и ползали их грудные и постарше дети. Грязные, голодные и зареванные. Эта картина болью вошла в мою душу.

Юлий внимательно слушал рассказ отца, он что-то хотел еще спросить, но в этот момент коляска выехала на пригорок и внимание путников привлекла необычная картина. Перед их глазами возникло село Богословка. Со двора крайнего каменного двухэтажного дома, принадлежавшего двоюродному брату Владимира Федосеевича, Владимиру Гавриловичу, высыпала людская толпа и хлынула на дорогу. Впереди бежали дети с букетами цветов. за ними в праздничных нарядах шли взрослые...

Первым среди этой толпы Владимир Федосеевич узнал своего двоюродного брата, длинного и худого, такого, каким он был на фотографии. А присмотревшись, увидел и свою бывшую гувернантку, учительницу немецкого языка, мадам Капель. Она, как и в молодости, хромала на правую ногу, опиралась на палку, которую часто подымала вверх, и что-то радостно выкрикивала на немецком языке. Много пережил на своем веку Владимир Федосеевич, но так, как сейчас, никогда не волновался. Дальше ехать не мог, сошел с коляски, пошел впереди нее, чтобы быстрее очутиться в окружении родни и земляков. Он долго не мог ни слова проронить в ответ на их приветствия: волновался. Любовь Федосеевна первой обняла и расцеловала брата, которого едва ли помнила. Она, как и другие, надеялась встретить совершенно старого, разбитого горем старика, а перед ней предстал пожилой, но очень бодрый мужчина. Смахивая слезы радости, Любовь Федосеевна позвала всех в дом. В это время к гостю протолкалась бывшая гувернантка, порывисто обняла своего бывшего воспитанника, шутя спросила по-немецки:

— Мой мальчик, не позабыл ли ты наш последний урок?

— Нет, нет, дорогая мадам фон Каппель, — по-немецки ответил Владимир Федосеевич.

В доме сестра познакомила Владимира Федосеевича с некоторыми встречающими его. Старых он не узнавал, а молодые были ему незнакомы, о них он знал только из писем, а сверстники напоминали о себе, рассказав какой-либо эпизод из тех далеких лет, когда они вместе учились или гуляли.

— Владимир Федосеевич, а помните, как мы с вами в лесу заблудились? — спросил седой мужчина в красной рубахе.

— Как же, помню, помню, — подтвердил гость.

Во время обеда Любовь Федосеевна, вдруг взглянув в окно, увидела во дворе жандарма. Удивилась, вышла к нему.

— Вы к кому? — спросила.

— Извините, мадам, мы из уезда, нам предписано...

— Я вас поняла. Вам предписано наблюдать за нашим гостем? Но вы могли это сделать более деликатно. Я его сестра и смею заверить вас, что мой брат ничего непозволительного не предпримет. Соизвольте удалиться, ежели пожелаете, приходите завтра. Сегодня здесь много гостей...

— Честь имею, — козырнул жандарм и направился к калитке.

Чтобы не омрачать брата, Любовь Федосеевна ничего ему не сказала о жандарме, а для себя уяснила, что, несмотря на амнистию и возвращение брату дворянского титула, за ним продолжают наблюдение. Ей стало жалко брата.

После обеда вместе с родными Владимир Федосеевич направился в Хворостинку. Хотелось взглянуть на могилы родителей, поклониться им. Кладбище было в конце Хворостинки. Говорили о разном, но Владимир Федосеевич мало вникал в разговор: он был весь погружен в прошлое. Он остановился, радостно воскликнул:

— Бог ты мой! Аисты вроде и не улетали.

На крыше старой, покосившейся конюшни в гнезде сидели аисты.

— Сколько же поколений сменилось— А вот в усадьбе, мне кажется, чего-то не хватает. Не пойму, чего же? Но тут же вспомнил и повернулся к сестре, спросил: — А помнишь, вот там, перед окнами кабинета отца, стояла наша «хворостянская Венера»?

Сестра не помнила, была тогда еще маленькой. За нее ответил Владимир Гаврилович:

— Это ты имеешь в виду «колдунью»?

— Какая там она «колдунья»?! А кстати, не нашли ее? Я даже вчера Юлию рассказал о ней.

— А кто и по какой надобности стал бы ее искать? Кому охота возвращать старую «колдунью». Теперь о ней мало кто помнит. Я удивляюсь, что ты о ней не позабыл...

К гостю и сопровождающим его подходили крестьяне и, глядя на Владимира Федосеевича, снимали шапки, приветствовали, приглашали к себе в дом.

Вечером и Раевские, и их близкие знакомые собрались вместе, вспоминали прошлое, рассуждали о днях нынешних. Иногда читали стихи разных поэтов и, конечно, Пушкина, завидуя Владимиру Федосеевичу, что он дружил с великим поэтом. Иногда гость читал свои стихи. Однажды Владимир Гаврилович вышел в соседнюю комнату. Возвратился с журналом «Сын отечества» в руках и, показывая его гостю, спросил:

— Вольдемар, здесь на открытой странице письмо Пушкина к тебе, не помнишь ли, по какому поводу?

Владимир Федосеевич взял журнал, взглянул на беглый пушкинский почерк, пояснил:

— Это было в Кишиневе в 1822 году. Я пригласил его к себе, но внезапно уехал из Кишинева по делам службы. Естественно, он меня не застал дома и оставил это письмо.

В день ареста Раевский велел своему слуге Матвею Красникову, приходившемуся ему молочным братом, упаковать все книги и журналы и вместе с ними отправиться в Хворостинку. Красников исправно все доставил по назначению, в дом Владимира Гавриловича.

Время пребывания гостя в Хворостянке пробежало быстро.

Накануне отъезда Владимир Федосеевич вышел прогуляться и незаметно оказался на кладбище. У могилы отца опустил на колени, взял горсть земли и завернул ее в белый платочек, сунул в карман. А в

последний день пришел к ручью Орлик. Кристально чистая родниковая вода, как всегда, располагала к размышлению. Еще в далекой юности он любил бывать здесь, на берегу. А в 1819 году, при последнем посещении, написал:

*Прости ж, ручей родной, прохладные дубравы,
Быть может, навсегда я покидаю вас.
Я не раб — свободен от желаний славы,
Мне дорог радости и мира каждый час.
В роскошных ли садах смеющейся Тавриды,
В стране ли хладной остяков
Или в развалинах Эллады —
Найду гостеприимный кров!
Там, там отечество мне будет,
Я там своих поставлю лар.
И под щитом святой природы,
На алтаре любви и нравственной свободы,
Забвенью принесу прошедшее все в дар.*

Родные предлагали Владимиру Федосеевичу возвратиться в Хворостянку, оставить Сибирь. Он и сам прежде об этом думал, но, увидев старые крепостные порядки, бесправие, против чего он всегда боролся, возвращаться не пожелал. В Сибири ему все же легче дышалось.

В воскресный день накануне отъезда брата Любовь Федосеевна устроила прощальный обед. Были приглашены не только родственники и близкие знакомые, но и все, оставшиеся в живых, слуги отца. Так пожелал сам гость. Здесь ясе было местное и уездное начальство. После многочисленных тостов в адрес отъезжающего поднялся Владимир Федосеевич. Глаза его выражали мудрость, спокойствие и незаурядный ум.

— Дамы и господа, дорогие земляки мои! Мне, на счастье, выпала редкая и безмерно драгоценная возможность два месяца дышать воздухом моих предков. Еще раз, и теперь в последний раз, увидеть землю, на которой я родился и сделал первые шаги в моей необычной жизни. Я сердечно признателен всем вам за то, что сделали мое пребывание здесь легким и радостным. Все это я сохраню в моей памяти до последних дней. Сегодня я этим столом я слышал в свой адрес слова сочувствия и сожаления о якобы неудавшейся жизни моей. Позвольте заявить вам, господа, что, как бы там ни было, но если бы мне пришлось начать жизнь сначала, я желал бы повторить все, что было...

Затем Владимир Федосеевич прочитал несколько строк своего стихотворения:

*Тогда пришла пора безмолвного страданья,
Но что ж? Страданья сладки мне, когда любовь
им мать,
И я за целый век безумного веселья
Мгновенья скорбного не соглашусь отдать...*

Сестра Владимира Федосеевича наклонилась к сидящему рядом мужу, тихо сказала:

— В этом весь наш брат! Не зря же покойный отец называл его спартанцем...

Всем селом проводили Владимира Федосеевича...

Возвратившись из поездки на родину, Раевский решил поделиться впечатлениями со своим другом Батеньковым, живущим в Калужской губернии у госпожи Елагиной.

«Я на моей родине был пришелец, — писал он. — Наследник слишком 1000 душ, я не имел родной

крыши...»

Раевский рассказал другу, как произошло, почему он остался без наследства.

В свое время газета «Будущность» опубликовала заметку «Поступок господ Поджио», в которой говорилось, что родственники декабриста захватили его имение, будут осуждены общественным мнением. Далее указывалось, что подлежат также осуждению имена «госпожи Бердяевой и госпожи Веригиной, которые, соединясь обе вместе, обокрали родного брата своего Владимира Федосеевича Раевского». Аналогичная заметка появилась и в «Колоколе».

И хотя Владимир Федосеевич не посылал в газеты этой заметки, сестры разгневались на него и тогда на самом деле разделили между собою все наследство. Раевский простил сестрам их поступок, он вполне обходился тем, что зарабатывал, но когда состарился, а младшие дети его еще учились и на них требовались большие расходы, денег не хватало. К тому же сгорела мельница, приносящая некоторый доход. Владимир Федосеевич остался без средств, вошел в долги. И тогда он попросил сестер выслать ему три тысячи рублей, завещанных сестрой Александрой, которая к этому времени умерла.

«Чем скорее я получу деньги. — писал он, — тем более буду благодарен. Если дом опишут, для меня достаточно места будет на кладбище...»

Потом, отношения их наладились.

Но Владимира Федосеевича волновали не только личные дела, но и все то, что происходило в стране.

«...Относительно настоящего и будущего России я с сожалением смотрю на все... Государство, где существуют привилегированные и исключительные касты и личности выше законов, где частицы власти суть сила и произвол без контроля и ответственности... там не гомеопатические средства необходимы... При

проезде моем в России через лучшие губернии я увидел и не узнавал этого бойкого, доброго, стройного русского человека, так исказился он и изменился за 32 года! Хитрость, подлость, дерзость, наглость так и отражаются на пьяном облике и в его рабских кривляниях и ухватках... 30 лет Россия не жила, но судорожно двигалась только под барабанный бой...»

К середине 1857 года декабристы, проживающие в Иркутске и его окрестностях, воспользовались «милостью» нового императора, покинули эти места, оставив после себя светлую память. Грустно стало Раевскому. Бывало, он ездил к кому-либо из них, иногда кто-то приезжал к нему в Олонки, и тогда вместе отводили душу беседами. Однако образовавшаяся после их отъезда пустота существовала недолго: после амнистии в Иркутск на поселение прибыли представители нового поколения революционеров — петрашевцы! Буташевич-Петрашевский, Спешнев и Львов.

Раевскому было известно, что в 1848 году Петрашевский и Спешнев попытались организовать тайное общество, но в их среду проник агент-provокатор Антонелли, руководил и направлял которого чиновник министерства внутренних дел Липранди. Тот самый Липранди, у которого в Кишиневе бывали Пушкин и Раевский. Липранди более года вел тайное наблюдение за петрашевцами, а затем передал министру внутренних дел Петровскому список всех членов кружка Петрашевского. Император, получивший информацию о злонамеренном кружке не от шефа жандармов, а от министра внутренних дел, вызвал к себе Орлова, сделал ему упрек за то, что III отделение «не видит, что творится у него под носом», и очень лестно отозвался о Липранди.

Многих петрашевцев присудили к смертной казни, которая была заменена ссылкой. В Сибири оказались петрашевцы. А несколько лет спустя Петрашевский, Спешнев и Львов попали в Иркутск. И случилось так, что в 1857 году ссыльнопоселенец Спешнев стал редактором «Иркутских губернских ведомостей», а Петрашевский и Львов — сотрудниками редакции. Раевский подружился с ними, особенно со Львовым. Петрашевцы знали о многих неблагоприятных делах, творившихся в губернии. В «Ведомостях» начали появляться статьи об этом. Раевский задумал напечатать в «Ведомостях» серию очерков под общим названием «Сельские сцены». Обладая даром незаурядного публициста, Владимир Федосеевич написал и опубликовал «Предисловие» к «Сельским сценам». В нем Раевский обрушился на существующие порядки, вернее беспорядки: «Недавно один господин К. Г., — писал Раевский, — доказал в журнале необходимость для крестьян розги, как бы давая тем понять, что помещик создан для того, чтобы сечь крестьян, а крестьяне — чтобы их секли, то есть поделил человечество русское на «секущих и секомых»... Но ежели одному сословию дано право сечь, а другому быть сечену без суда, — то какую силу, значение и смысл будут иметь законы? И зачем они?.. У крестьян страх исправника, помещика, заседателя, старосты или, лучше сказать, розг и плетей сильнее... совести и ответа перед законами, а отсюда-то происходят ложь, клевета, нередко ложные присяги... ранний разврат женского пола, бесстыдство; отсюда происходит пьянство, домашние суды, всегда решающиеся в пользу того, кто больше поставит вина, воровство общественных денег... и длительный ряд безобразных пороков. Нашелся еще господин, который воздумал доказать, что и грамотность для крестьян вредна. Как же это? А вот как: он говорит, что

волостные и сельские писаря плуты, потому что грамотны: следовательно, грамотность вредна и крестьян учить не следует. Чистая логика! Но вследствие которой рождается вопрос: интересно бы знать, учит ли оный господин собственных детей, и следует ли их учить на том основании, что есть чиновники и дворяне плуты?»

Далее Раевский утверждает, что «очень трудно, но возможно» поправлять укоренившееся зло. Он ратует за всеобщую грамотность. Взымает к совести тех, кто присвоил себе право сечь крестьян, «которые в поте лица добывают хлеб для себя и для тех, которые отстаивают право сечь и держать в невежестве».

Статья Раевского не понравилась лиходеям из окружения губернатора. Они стали требовать закрыть «Ведомости». А некий Карпов говорил: «С каждым номером губернских ведомостей ведут кого-нибудь из нас на распятие, а мы рукоплещем — доберутся наконец и до всех».

Виновником в разоблачении взяточников и плутов губернские чиновники считали Раевского. И еще пуще возненавидели его.

В Главном управлении Восточной Сибири чиновником особых поручений служил Беклемишев, человек «испорченной нравственности». Вокруг Беклемишева, успевшего войти в доверие губернатора, группировались чиновники, занимающиеся взяточничеством и казнокрадством. Он был их коноводом. В числе близких сторонников Беклемишева были чиновники Главного управления Восточной Сибири, в их числе управляющий III отделением Успенский, тот, по доносу которого был выслан в Акатуй Лунин; в управлении служил чиновником канцелярии Неклюдов, открыто осуждавший то, чем тайно занимались Беклемишев и его сторонники. Это о них Раевский сказал, что они «суть бичи края». Боясь

огласки, Беклемишев решил избавиться от Неклюдова. В ход были пущены клевета и другие подлости. А когда этого оказалось мало, он спровоцировал дуэль и убил Неклюдова. Этот наглый и позорный случай расправы взбудоражил весь город. О нем Владимир Федосеевич написал в «Колокол», издаваемый Герценом в Лондоне.

«Что же произошло в Иркутске? — сообщал Раевский. — А произошло то, что Неклюдову подсунули незаряженный пистолет. Беклемишев еще до сигнала о начале дуэли подбежал к Неклюдову и в упор выстрелил в него. Через несколько дней, — писал Раевский, — были похороны Неклюдова (замечательно, что вопреки духовному положению, воспрещающему отпевать убитых на дуэли наравне с самоубийцами, полиция сделала распоряжение отпеть Неклюдова и тем самым как бы признала его за убитого насильственно), по стечению народа самые многочисленные, какие когда-либо бывали в Иркутске за двухвековое его существование;...публика старалась выразить свое сочувствие к убитому и протестовать против виновника смерти».

Об иркутской дуэли «Колокол» получил ряд писем, среди них были и такие, в которых защищали Беклемишева, а Раевскому приписывалось, что после смерти Неклюдова «агенты приказчика питейного откупа Владимира Федосеевича Раевского произвели волнение в городе...».

На защиту Раевского выступил петрашевец Львов. В письме к Герцену он рассказал о его несчастной судьбе и непричастности к делу в Иркутске. «Совершенная ложь. — писал он. — что будто агенты Владимира Федосеевича Раевского после смерти Неклюдова произвели волнение в городе — по той простой причине, что Раевского там не было; он живет в семидесяти верстах от Иркутска, на Александровском заводе, и вот уже два года, как оттуда не выезжал...»

Беклемишев сильно озлобился на Раевского и поклялся всю жизнь мстить не только ему, но и его детям.

В то же время Герцену о Раевском писал Бакунин: «Раевский очень, очень умный человек... Он не педант-теоретик-догматик, нет, он одарен одним из тех бойких и метких русских умов, которые прямо бьют в сердце предмета и называют вещи по имени... разговор его остроумный, блестящий, едкий, в высшей степени увлекателен...» Хотя в первом письме к Герцену Бакунин дал отрицательную, несправедливую характеристику Раевскому и теперь как бы ее исправлял.

Петрашевцы, выступившие против несправедливости, вскоре за это поплатились. Петрашевский был выслан из Иркутска в Шушенское Минусинского округа. Львов был уволен со службы и в январе 1860 года вынужден на какое-то время переехать в Олонки к Раевскому. Там друзья часто засиживались допоздна. Беседовали о судьбах России, литературе и искусстве, о детях. Однажды Владимир Федосеевич с горечью заметил: «Вот гляжу я, Федор Николаевич, на своих взрослых детей и никак не могу взять в толк, почему они при сравнительно хорошем образовании и, казалось, достаточном воспитании так поверхностно смотрят на жизнь, почему у них совершенно отсутствует ее философское осмысливание? Видно, мое воспитание действовало благотворительно только на физические силы...»

Львов хорошо знал старших сыновей Раевского. Они ничем не отличались от своих сверстников, в них он не увидел людей, способных продолжать начатое отцом дело, пойти по его трудному тернистому пути. Все это и дало ему повод в одном из писем к Завалишину при упоминании о детях Раевского заметить, что «умственный горизонт их тесен».

Сейчас Федор Николаевич, решив развеять грусть друга, сказал:

— Все это, Владимир Федосеевич, не предмет для грусти. Дети ваши такие же, как и у других, и чем-то даже лучше, но ведь давно сказано: кому определено ползать, тот никогда не взлетит. У вашего отца было много детей, но на благородный и трудный путь борьбы с самодержавием суждено было стать только вам. И, надеюсь, в конечном итоге не сожалеете?

— Разумеется, нет, Федор Николаевич, не сожалею, как и все мои единомышленники тех лет. Сожалею только о том, что мы так мало или почти ничего не сделали и не оставили ничего после себя людям в наследство...

— С этим, Владимир Федосеевич, я не могу согласиться. Разве Герцен, мы, петрашевцы, не ваши последователи? И еще будут... — утвердительно заявил Львов и сильно закашлялся. Его лицо покрылось потом.

Раевский быстро поднялся, вышел на кухню, возвратился с кружкой воды, и, подавая Львову, сказал:

— Глотните малость, Федор Николаевич.

Львов рукою отвел кружку и еще долго продолжал кашлять, а успокоившись, вытер платком лицо, сказал:

— Не помогает, дорогой Владимир Федосеевич. Сырые николаевские казематы оставили свой коварный след... Это также удар судьбы суровой...

На столе Раевского лежала раскрытая книжка стихов Пушкина.

— Владимир Федосеевич, я давно собирался спросить вас о Пушкине. Мне кто-то из наших общих знакомых рассказывал, что вы с ним дружили в бытность вашу в Кишиневе.

— Да, хотя я был старше его, но это не мешало нашей доброй дружбе. Он был весьма интересным собеседником. Открыто говорил обо всем, что его волновало. Пушкин никогда не спорил по пустякам. Не

помню, говорил я вам или нет, издатель «Русского архива» Бертенев, зная о моей дружбе с Пушкиным во время службы в Кишиневе, попросил меня написать воспоминания. Я не сделал этого только потому, что нужно было бы часто употреблять личное местоимение.

— Ну это вы напрасно, Владимир Федосеевич, — возразил Львов и, вспомнив, что Раевскому приходилось много ездить по Сибири, спросил: — Вы, Владимир Федосеевич, довольно часто колесили по всей губернии, и, наверно, приходилось встречать кого-либо, с кем когда-то служили или воевали? Ведь в конце концов многие мыслящие люди оказываются здесь.

— Разные бывали встречи, радостные и грустные. Федор Николаевич. Однако одна из них запомнилась. Это случилось, когда я мотался в поисках рабочих для золотых промыслов. Однажды в небольшом городишке за Байкалом остановился ночевать. Утром, когда выходил из дома, ко мне подошел нищий.

— Здравствуйте, господин майор, — хриплым голосом сказал нищий, впившись в меня воспаленными глазами. Руки его дрожали.

— Здравствуйте. Позвольте узнать, с кем имею честь?

— Фельдфебель 16-й пехотной дивизии Дубровский, ваше благородие, не узнаете? Я вас сразу узнал... вот и караулил здесь, у дома...

Мне сделалось не по себе. В бытность мою в 16-й дивизии фельдфебеля Дубровского я хорошо знал как молодого человека с весьма смелыми суждениями. Мне часто и откровенно приходилось беседовать с ним. Его любили солдаты, что случалось не часто в армии. Еще при мне Дубровский выступил на защиту солдата, незаконно истязаемого капитаном-самодуром. Фельдфебеля за это высекли и сослали в Сибирь. Обездоленного, изнуренного непосильной работой, его до срока оставили жизненные силы. Последние годы он

болел, никто не брал его на работу, ходил с протянутой рукой.

Рассказывая, Раевский разволновался:

— Скажите, Федор Николаевич, мог ли я бросить этого человека? Нет, не мог. Я на второй день малость его приодел и забрал с собою в Олонки, а потом повез на Александровский винокуренный завод, где управляющим был мой зять. Нашлась работа для несчастного. Он воспрянул духом, ожил. Каждый раз при встрече благодарил меня и от радости плакал. Как-то он мне рассказал, что в селе под Тульчином у него остались жена и малолетний сын Петька. Годами он ничего не знал о них. Многочисленные попытки найти их ни к чему не привели. Это было его, как он сказал мне, самое большое горе. Я взялся помочь ему. Мне в этом посодействовал знакомый губернаторский чиновник. Месяца через два пришел официальный ответ, а с ним и письмо от его повзрослевшего сына, Петра Дубровского. В тот день я оседлал коня и помчался в Александровск, дабы обрадовать истосковавшегося отца. Но, к сожалению, опоздал: Дубровский вторые сутки лежал в сильном жару, часто терял сознание. Он умирал. Улучив минуту, когда к нему возвратилось просветление, я рассказал ему о его сыне, показал письмо. По его лицу пробежала заблудившаяся улыбка, а может, мне так показалось... Он так и умер у меня на руках, став еще одной невинной жертвой невежества и николаевского произвола...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«ЛЮБИ ЛЮДЕЙ, ДАЙ РУКУ ИМ В ПУТИ...»

Как басня, так и жизнь ценится не за длину, но за содержание.

Сенека

Основным злом в России Раевский считал крепостное право. «Кто дал человеку право называть человека моим и собственным?» — возмущался он. Личную свободу он считал правом каждого гражданина. Творить добро, истреблять зло было его постоянной целью. Еще в 1821 году в одном из писем своему другу капитану Охотникову, ведавшему тогда школой взаимного обучения, Раевский писал: «Советую тебе приступить к благородному делу, обратить первое внимание на нравственность, а потом на образование и науки; ибо едва ли можно вообразить, до какой степени достигла порча нравов... Командир роты поручик Н., который плохо знает грамоту, но умеет бить и «крутить» солдат. Зачем, ему думать о Суворове, Румянцеве... о духе солдат? Он приказал, и учебного солдата вертят, стегают, крутят, ломают, щипают и... черт возьми! Иногда кусают!»

«Порча нравов», как выразился Раевский, рождалась оттого, что в стране существовало крепостное право, которое Пестель называл делом «постыдным, противным человечеству». «Рабство должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно непременно навеки отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми», — писал Пестель в «Русской Правде».

Будущность России декабристы видели прежде всего в свободе людей. Еще до вступления в тайное общество Раевский уже был сложившимся и убежденным борцом, что позволило ему сразу начать активную деятельность. В бессарабской группе декабристов он играл выдающуюся роль. Находясь в тюрьме и ссылке, он никогда не считал себя побежденным. Ему неведом путь покорства и низкой лести. У него всегда вызывало гордое презрение «сословие невежд, гордящихся породой»:

*Презренные льстецы с коленопреклоненьем
Им строят алтари, им курят фимиам...*

В сатире «Смеюсь и плачу» он обращается ко всей официальной России, высмеивает людей с подлой душой и «вертопраха», который

*...Иль бедных поселян, отнявши у отцов,
Меняет на скворца, на пуделя иль сойку...*

«Как преступно устроены все гражданские общества, — писал Раевский, — почему они не ведут нас к одной нравственно высокой цели? Сколько бы преступлений на земле исчезло от подписи одной бумаги, от росчерка пера самовластителя?» «Вольнодумец пылкий и предприимчивый», — как назвал Раевского генерал Киселев, мечтает о всеобщей грамотности народа: «Дайте детям простолюдинов грамотность, а в училищах буквари, в которых не глупые шутки и побасенки составляли бы половину книги, но буквари, где бы объяснялись первые догматы веры, правила нравственности и необходимые для

крестьянского звания законы... Дайте этот толчок — и жизнь народная пойдет развиваться широко и правильно». Однако шли годы, но ничего не менялось к лучшему. Уже в 1866 году в письме к Черепанову Раевский с горечью сообщал: «В губернской столице — Иркутске — вместо 16 кабаков, существовавших при откупной системе, стало 400! Вместо одного на всю Восточную Сибирь казенного винокуренного завода возникло 18 частных. А гимназия как была, так и осталась одна на 120 учащихся».

Даже в период тяжелых душевных переживаний Владимир Федосеевич думал о воспитании в людях высокой нравственности и гражданственности, в стихах клеймил строй, при котором гибнут лучшие представители человечества.

*...Я видел подлость, дерзость, месть,
Которая в венце сияет!
И как безумец унижает
Таланты, разум, правду, честь!..*

Всю жизнь он презирал ложь, от кого бы она ни исходила/ «А сколько погибло прекрасных умов только за то, что сказали или пытались сказать людям правду, или намеревались указать на пороки власть имущих».

А в стихотворении «Смеюсь и плачу» Владимир Федосеевич напомнил о произволе и невежестве властелинов в далеком прошлом:

*...Взирая, как Сократ, Овидий и Сенека,
Лукреций. Тасс, Колумб, Камознс, Галилей
Погибли жертвою предрассуждений века,
Интриг и зависти иль жертвою страстей!..*

Раевский всегда ценил своих товарищей по борьбе, тех, кто, по меткому выражению декабриста Вольфа, не изменился. «Мы сидели на одной скамье ужасной школы... Теперь же мы не можем измениться, — мы честные люди и друг друга не заставим краснеть», — писал Вольф. Да, ни казематы, ни ссылки не изменили декабристов. До конца дней своих оставались они верными идее, за которую пострадали.

Честность и порядочность Раевский ставил на первое место в воспитании своих детей, учил их справедливости и доброжелательности. Всему тому, чего сам всю жизнь придерживался и о чем не раз говорил:

«Не делай и не жалея того другому, чего себе не жалеешь. Чужая тайна есть чужая собственность. Подлый человек только решается огласить вверенную ему даже неважную тайну. Чтобы управлять людьми, надо прежде всего научиться управлять самим собою. Люби людей, дай руку им в пути. Не будь к бедным жестокосерд. Когда ты имеешь много, то уделяй им щедрюю рукою; когда же мало, то давай и из малого, и притом от чистого сердца и с охотою. Ищи всегда совета у добрых и благородных людей».

А главным он считал привить детям любовь к труду. В одном из писем к Батенькову он писал: «...Друг мой, дети мои выросли не на паркете. Мне нужны только точные, ясные начала приучить их к труду, остальное разовьется. Мои дети не рождены пожирать, поедать чужой труд, ходить на помочах, бояться укушения блохи, проводить жизнь в пляске: мои дети плебеи, им предстоит тяжкий труд — как средство для жизни и в жизни...»

Однако Раевский кое в чем не успевал. Слабое здоровье, частые разъезды, связанные с борьбой за кусок хлеба, порой не позволяли ему уделить нужное внимание детям. Поэтому приходилось нанимать

учителей. В 1854 году он обратился к декабристу Завалишину. Отправляя сына Юлия к нему в Читу, писал: «Убедительно прошу Вас, почтенный Дмитрий Иринархарович, не оставить Юлия своим вниманием, советами, указаниями. Ветреность и рассеянность или рассеяние не мешают ему понимать все хорошее, полезное и благородное...»

Очевидно, «школа» Завалишина понравилась Раевскому, и через три года он посылает к нему сына Михаила. «В надежде на Ваши знания и на Ваше желание быть полезным я безусловно вверяю Вам сына моего, — писал Владимир Федорович, — имеет память и способность, но дурное направление... Я взял его из 6-го класса гимназии...»

Жизнь Раевского в Сибири была полна бедствий и превратностей. У него большая семья — три дочери и пять сыновей. Вырастить и дать всем образование непросто. Младшие дети еще бегали в школу, а старшая дочь Александра стала невестой. К ней посватался местный дворянин Бернатович.

В день венчания Владимир Федосеевич подарил дочери «Послание» — своего рода духовное завещание детям, да и не только им, но и молодому поколению. В то же время стихотворение носит и автобиографический характер.

*Мой милый друг, твой час пробил,
Твоя заря взошла для света;
Вдали — безвестной жизни мета
И трудный путь для слабых сил.*

.....

*О друг мой, с бурей и грозой
И с разъяренными волнами
Отец боролся долго твой...
Он видел берег в отдалении,
Там свет зари ему блистал,*

*Он взором пристани искал
И смело верил в провиденье,
Но гром ударил в тишине...*

*.....
Я эту жизнь провел не в ликованья,
Ты видела, на розах ли я спал;
Шесть лет темничною заразою дышал
И двадцать лет в болезнях и изгнаньи,
В трудах для вас, без меры, выше сил...
Не падаю, иду вперед с надеждой,
Что жизньнюю тревожной и мятежной
Я вашу жизнь и счастье оплатил...*

*.....
Иди ж вперед, иди к признанью смело,
Люби людей, дай руку им в пути...*

*.....
...Не доверяй усердию рабов:
Предательство — потребность рабской доли...
Не преклоняй главы для сильной воли,
Не расточай в толпе бесплодных слов...
Иди вперед... прощай другим пороки,
Пусть жизнь твоя примером будет им...*

*.....
Когда я в мир заветный отойду,
Когда меня не будет больше с вами,
Но брошу вас, я к вам еще приду
И внятными, знакомыми словами
К ответу вас я строго призову,
От вас мои иль вечные страданья,
Иль вечное блаженство — все от вас...*

Послание это Александра сохранила на всю жизнь.

Незаметно пробежали годы. Владимир Федосеевич по-прежнему занимался винным выкупом, жил в

основном на Александровском винокуренном заводе, где имел свой собственный домик. К семье в Олонки приезжал по воскресеньям и праздничным дням.

Никогда, ни при каких обстоятельствах Раевский не терял интереса к общественной жизни. Он был в курсе всех событий. Ему были близки взгляды польских революционеров, петрашевцев, а также революционеров-разночинцев, сосланных в Сибирь в 1860 году. С одним из них, Станкевичем, часто встречался, снабжал его газетами и журналами. Чем мог помогал не только ссыльным, но и молодым ученым-сибирякам. В письме к видному сановнику Вельтману просил помочь молодым иркутским инженерам Баснину и Разгильдяеву, которые должны уехать «за границу с ученой целью и не напрасно — как ездят наши «сверчки и тараканы». На Раевского постоянно шли тайные доносы, обвиняя его то во «вредных разговорах», то в каких-то других непозволительных делах. Делалось это ему в отместку за то, что разоблачал жуликов и проходимцев, состоящих на государственной службе. Они ему мстили, как могли. Анонимные доносы были их главным оружием. На каждый донос полагалось писать объяснение начальнику III отделения Главного управления Восточной Сибири Успенскому. Тому самому, который при аресте Лунина в 1841 году, увидев, как Лунин сделал движение в сторону охотничьего ружья, висевшего у него на стене, сильно побледнел и задрожал. Лунин заметил это, поспешил успокоить его: «Таких людей как вы, не убивают, а бьют».

На последний донос Раевский написал объяснение прямо генерал-губернатору. «Наконец-то не только в домашний быт, в мою прислугу, но и в мои откупные занятия вмешиваются доносчики. Если я имею врагов, я не виноват. Это общая участь людей, у которых есть

собственные правила и независимые убеждения. В мои лета они измениться не могут».

В 1858 году Владимир Федосеевич решил продолжить писать свои воспоминания, которые начал еще в 1840 году, но тогда был арестован Лунин и конфискованы его бумаги, и он вновь решил оставить их до лучших времен. «Крепость Замостье и разговор с цесаревичем Константином Павловичем» и «Крепость Замостье и конфирмация» были написаны ранее. Теперь он готовит еще три очерка: о поездке в ссылку в Сибирь, о деятельности его в тайном обществе, о поездке в европейскую часть России в 1858 году. Написал очерк о смертной казни пяти декабристов. Раевский видел эту казнь из окна своего каземата. Весь обряд казни прошел перед его глазами и запомнился на всю жизнь.

«...Через полчаса из этого дома вышли один за одним 5 человек, осужденных на смерть. Они шли один после другого под конвоем с обеих сторон солдат Павловского полка. Все они были одеты в белые длинные саваны. У каждого на груди была привешена черная доска с надписью: преступник такой-то. Они взошли на вал и потом на платформу. На перекладине было привязано пять веревок с петлями. Внизу стояла скамейка. Осужденные были в ножных кандалах, им очень трудно было стать на скамейку, но им помогли... Через полчаса трупы сняли, сложили на телегу и увезли...»

Естественно, для написания воспоминаний у Раевского было очень мало свободного времени. Писал урывками и часто в ночное время. Иногда случалось, что, написав что-либо, Владимир Федосеевич прочитывал Авдотье Моисеевне, которая, удивляясь, говорила:

— Ты мне об этом никогда не говорил, первый раз слышу.

— Не все сразу, — шутил Раевский, — я еще ни слова не написал, как мы обвенчались.

— Думаешь, кому-то интересно будет знать?

— Детям нашим, а еще больше внукам, ведь свадьба наша была необычная...

Когда старшие дети уже были пристроены и расходы уменьшились, Владимир Федосеевич решил бросить работу по откупу. Об этом узнали крестьяне, услугами которых он все время пользовался, что являлось их единственным заработком. Крестьяне умоляли его не бросать работу, ибо знали, что никто иной не сумеет защитить их интересы так, как он. Сотни крестьян имели приличные заработки потому, что Раевский не допускал вмешательства чиновников, а сам не брал от них ни гроша.

Годы брали свое. Раевскому становилось трудно часто ездить от винокуренного завода до Олонков. Поэтому на заводе построил для себя маленький домик. На Александровском винокуренном заводе отбывали каторжные работы осужденные за разные провинности. Там были и ссыльные поляки, которые в лице Раевского видели своего защитника. С некоторого времени на завод привезли соратника Чернышевского Обручева. Раевский сразу подружился с ним, помогал ему. Иногда Обручев бывал в доме Раевского.

В те дни больше всего говорили о крестьянской реформе 1861 года. Было распространено мнение, особенно в этом усердствовали помещики, что Россия держится на дворянстве и что без крепостного права уничтожилось бы не только дворянство, но и сама Россия.

В воскресный день Обручев пришел к Раевскому и, увидев на столе Раевского газету, спросил:

— Что пишут о реформе, Владимир Федосеевич?

— По повелению царя во всех губерниях созданы комитеты по освобождению крестьян, посмотрим, что

из этого получится. Я лично убежден, что прежде всего следует крепостному рабу возвратить человеческие права, а потом трактовать о поземельном праве или наделению землею.

— Много разговоров идет вокруг выступления в Новгороде губернатора Муравьева по этому вопросу, сказывают, он на стороне крестьян, — заметил Обручев, — слыхал, что вы были близко знакомы с губернатором.

— Александра Николаевича Муравьева я знаю давно. Он один из основателей тайного общества, но потом отошел от него и в силу этого, а также при содействии влиятельных родственников ушел от строгого наказания. Это весьма интересная личность, сказывают, что, когда его назначили в Нижний Новгород военным губернатором, первым делом он сделал объявление, что принимает посетителей «во всякий час дня с утра до ночи, не исключая воскресенья и праздников».

О Раевском Обручев оставил воспоминание: «В Александровском заводе жил Владимир Федосеевич Раевский, современник декабристов и всегда причислявший себя к ним, — он и был им... Небольшого роста, довольно плотный, он носил коротко стриженные волосы и бакенбарды. Русская речь отличительная, своеобразная. Минутами, когда он читал стихи или рассказывал что-нибудь возбуждающее, к нему возвращалась осанка человека властного, бесстрашного. Стихов он мне читал много, но я помню только две строки о том, как в Новгороде

*...сокрушало издалече
Царей кичливых рамена.*

Для меня несомненно, что в нем погибла личность выдающаяся по уму, энергии, и если не поэтическому, то, во всяком случае, стихотворному дарованию».

Все, кому приходилось встречаться с Раевским, составили о нем самое высокое мнение. Известный в то время литератор Черепанов, близко знавший Раевского, также рассказал о встречах с ним в сочинении «Воспоминания сибирского козака».

Черепанову во многом был понятен Раевский, ибо он сам испытал в жизни немало невзгод. В 1862 году, работая помощником правителя канцелярии Казанского губернатора, он напечатал в «Северной почте» статью, в которой признался: «...Пока я не был в России, считал Гоголя злым клеветником на помещиков, но, поселясь в России, убедился, что он слишком еще снисходительно их описал... Владелец известного села Бездны до сих пор получает оброк с общества за 200 с лишним человек, убитых в этом селе в 1861 году во время так называемого бунта... Оброк получает на том основании, что мертвые души эти числятся еще по десятой ревизии...»

Статья эта стоила Черепанову должности.

В переписке с Черепановым Раевский с удовлетворением отмечал, что во времена царствования Александра II общественная жизнь несколько оживилась. Появились новые газеты, журналы, получили развитие железные дороги, телеграф. «Но, к сожалению, — писал он, — из высших заведений наших до сих пор я видел только сверчков, слизней и много, много куликообразных либералов...»

Раевский давно задумал оставить Завещание о передаче дома под школу. Сейчас был самый удобный случай сказать об этом жене.

— Дуняша, я решил оставить Завещание о передаче нашего дома под школу. А ты переедешь в дом, что в Александровском...

Владимир Федосеевич вопросительно глядел в глаза жены. Жена молчала. Она, очевидно, еще не совсем поняла сказанное и только спустя некоторое время спросила:

— Разве школа на твоём попечении?

— Разумеется, нет, ты это знаешь, как и то, что крестьяне много нам помогали. За добро надо платить добром. Сегодня заходил в школу. Приятно, что в ней много ребят. А помнишь, когда я впервые создал какое-то подобие школы, тогда было шесть человек желающих учиться. Существовало суеверие, что от учебы наступает «помрачение ума».

Авдотья Моисеевна молчала.

Владимир Федосеевич считал решенным вопрос о Завещании, еще несколько минут вспоминал первую школу, созданную им, но вдруг жена перебила его, осторожно спросила:

— Может, все-таки дом оставить детям? Вот и Михаил не устроен...

— Детям мы дали все, что могли, и даже сверх того. Никого из них не обидели. Дальнейшее — дело их рук и ума... У каждого из них, естественно, чего-то не хватает, и, наверное, это вполне нормально. Есть такая поговорка, если бог кого хочет наказать, он удовлетворяет все его желания. Хотя я хорошо знаю, что желаниям нет конца. Они часто порождают пороки.

— Делай как хочешь, — согласилась Авдотья Моисеевна, — но лучше дом передать после моей смерти. В Александровский завод не поеду. Здесь я родилась, здесь и умереть хочу, в своем доме!

Владимир Федосеевич подошел к жене, уселся рядом, притихшим голосом сказал:

— Коль мы начали этот разговор, Дуняша, то я хочу просить тебя, ежели всевышний призовет меня к себе, похоронить меня где-нибудь в степи, где много света.

Авдотья Моисеевна еще прежде несколько раз предлагала мужу внести деньги церкви, то есть приобрести право быть похороненным в церковной ограде. Она и сейчас сказала ему об этом и тут же спросила:

— Чего это ты сегодня о смерти начал толковать?

— Как же, чувствую, что подходит мой черед. От смерти, дорогая, не уйдешь... Я вот иногда думаю, что нелегкую жизнь мы прожили, и все равно кажется, что недавно были молоды. Хотели сделать что-то доброе для людей, но не сумели и, как сказал когда-то незабвенный Одоевский, «лишь оковы обрели». С несбывшейся мечтой так и уйдем в мир иной... Пройдет немного времени, и все забудется, придут другие поколения, у них будут свои радости и печали. Такова участь наша... Да, я позабыл тебе рассказать, Дуняша, прошлой ночью я видел неприятный сон. Батенькова нашего видел. На белом коне, в черном жупане, куда-то мчался. Увидев его, я несколько раз окликнул, но он или не услышал меня, или не пожелал остановиться и скрылся в тумане...

Авдотья Моисеевна озабоченно глядела на мужа, сказала:

— Плохой это сон, не захворал ли твой друг? Давно ведь весточки от него не было.

Владимир Федосеевич предчувствовал недоброе, но вопреки ему бодро заявил:

— Мы с ним еще должны встретиться: сколько лет собираемся, а то, что письма давно не было, ни о чем не говорит. Родные дети и те ленятся часто писать.

Под влиянием разговора с женою в тот же вечер Владимир Федосеевич сел за написание «Предсмертной думы», которую давно вынашивал.

*...И жизнь страстей прошла как метеор.
Мой кончен путь, конец борьбы с судьбою;*

*Я выдержал с людьми опасный спор
И падаю пред силой неземною!*

*К чему же мне бесплодный толк людей?
Пред ним отчет мой кончен без ошибки;
Я жду не слез, не скорби от друзей,
Но одобрительной улыбки!*

На другой день пришло письмо, на конверте незнакомый почерк. Обратного адреса не было. Раевский повертел его в руках, вскрыл.

«Уважаемый Владимир Федосеевич, — вслух начал читать, — выполняю последнюю волю покойного Гавриила Степановича Батенькова, сообщаю сию горестную весть и высылаю его последнюю фотографию, которую он подписал для Вас за неделю до кончины.

Елагина».

— Царство ему небесное, — вздохнула Авдотья Михайловна, перекрестилась, вышла на улицу.

Раевский долго смотрел на фотографию друга юности, а когда на нее упала слеза, положил на стол и пошел к дому священника договариваться об отпевании Друга.

Перед глазами все время было письмо Елагиной, которую знал по письмам Батенькова. Еще в молодости, когда Батеньков служил в Сибири, он был влюблен в жену своего друга Елагина. Об этом никогда ей не говорил. Это была тайна его сердца. Видимо, и Елагина не была равнодушна к нему, это стало ясным через многие годы. Елагина рано овдовела. Более двадцати лет они ничего не знали друг о друге, а когда после заключения Батеньков снова оказался в Сибири, Елагина узнала о его ужасной судьбе, пригласила его в свое имение в Калужскую губернию. После мучительных

раздумий Батеньков принял приглашение и сразу же написал об этом Раевскому. Владимир Федосеевич тут же ответил ему: «В душе радостно благословил я тебя на новый путь и лучшую жизнь и перекрестился от восторга, что и в России есть такие благородные люди, как госпожа Елагина. С коленопреклонением поцеловал бы я святую руку, которой она писала тебе».

Возвратившись от священника, Владимир Федосеевич снова взял в руки фотографию, сказал жене:

— У меня, Дуняша, сейчас очень тяжело на душе, мне кажется, что уже наполовину похоронил самого себя. Знал его еще юным. Уже тогда он был необыкновенно образованным. Знал несколько иностранных языков, в том числе греческий и древнееврейский. Муравьев Никита мне сказывал, что они его пророчили в состав будущего правительства...

Уже после смерти Батенькова Раевский узнал, что он к концу жизни взялся за очень трудное дело: переводил «Историю Византийской империи» Шарля Лебо. Успел перевести половину.

В воскресный день из-за дождливой погоды Владимир Федосеевич в Олонки не поехал, а остался на заводе, в своем маленьком домике. Он решил продолжать писать воспоминания.

Днем к нему пришел старый приятель, ссыльный поляк Ружицкий. Еще в тридцатые годы студент Ружицкий за участие в революционном выступлении в Варшаве вместе со многими соотечественниками оказался в Сибири. А тридцать лет спустя Сибирь снова пополнилась польскими революционерами. Как и прежде, правительство всячески старалось изолировать поляков от местного населения, а главное — от русских ссыльных. Но сделать это было невозможно. Русские ссыльные уже находились во всех медвежьих уголках,

куда бы полагалось разместить поляков. А их насчитывалась не одна тысяча. Ружецкий с двумя юными сподвижниками был сослан в деревушку, что в двадцати верстах от Олонков. Там он и узнал, что уже два года в Олонках находится на поселении декабрист Раевский. Поляки хотели познакомиться с ним, но как? Помог, как говорят, случай. Возвращаясь из Иркутска в знойный летний день 1834 года, Раевский остановился у деревенского колодца утолить жажду. Ведра не было, и он, толкнув старую калитку, оказался во дворе; навстречу ему шел молодой человек, невысокого роста с приятными чертами лица и умным взглядом голубых глаз. Раевский сразу определил, что он не из местных. Убедился в этом, когда тот произнес первую фразу. Русские слова были с сильным польским акцентом. Утолив жажду, Раевский поблагодарил, а затем, протянув руку, представился.

Глаза молодого человека расширились:

— Матка боска, вы есть тот Раевский, что...

— Тот, тот, — подтвердил Раевский, не дав поляку закончить фразу.

Вот так много лет назад состоялось первое знакомство Раевского с польскими ссыльными. В первые годы их ссылки Раевский помогал материально не только Ружицкому, но и другим. Об этом сам Ружицкий позже сказал: «У Раевского мы учились жить; благодаря его помощи и советам мы не падали духом на чужой и далекой для нас земле».

Ссылные русские декабристы считали поляков братьями, способными оказать большую помощь в революционной борьбе с царизмом. Кроме того, ссыльные поляки были среди тех, кто помогал развивать в Сибири различные промыслы, подымать общую культуру населения.

Ружицкий приехал на Александровский завод, чтобы встретиться с ссыльными поляками, работавшими там, а

главное, чтобы повидать Раевского и кое в чем посоветоваться. От него Раевский узнал, что в Красноярске действует русско-польская организация, разработавшая план восстания и готовящая воззвание к войскам и местному населению. Восстание намечалось на весну 1866 года. Ни Ружицкий, ни Раевский тогда не знали, что подобные русско-польские организации были созданы и в других местах Сибири. Перед самым уходом от Раевского Ружицкий сказал ему:

— Вы, Владимир Федосеевич, извините меня, но я послан к вам спросить: нельзя ли будет на несколько дней остановиться в вашем доме на заводе двум нашим товарищам? Они должны поговорить со своими соотечественниками, работающими на заводе.

— Всегда рад помочь, — ответил Владимир Федосеевич.

...В ночь с 24 на 25 июня 1866 года на Круглобайкальской дороге восстали ссыльные поляки. Восстание не получило поддержки и было разгромлено. Четыреста восемнадцать его участников преданы суду. Обо всем, что стало известно об этом событии, Раевский поделился с женой:

— Вчера неудача, сегодня неудача, а завтра, может быть, и удача. Восстающих убить возможно, а дух их — никогда.

— А как ты думаешь, кто повинен, что так случилось? — осторожно спросила Авдотья Моисеевна.

Владимир Федосеевич долго молчал, а потом, тяжело вздохнув, выдавил:

— В успехе, милая, всегда отыщется отец, и не один, а неудача — всегда сирота...

О событии на Круглобайкальской дороге писал герценовский «Колокол»: «Добивали, добивали Польшу... а она вся жива... Она восстала в Сибири — безнадежная, отчаянная, но все же предпочитающая смерть рабству».

Восьмого июля поздно вечером небо Олонков неожиданно плотно затянулось дождевыми тучами. Вода в Ангаре казалась густо-смоляной. Губернский чиновник, проезжая через село, остановился в крестьянском доме Заровняева, где бывал и ранее.

Не успел он еще попить чаю, как от дома Заровняева по селу ураганом пронеслась страшная, но еще не доказанная весть: в деревне Малышевке выстрелом через окно убит Владимир Федосеевич Раевский. К утру уже все село знало о случившемся, кроме Авдотьи Моисеевны. Все знали, что последнее время она тяжело хворала, поэтому никто не решался сообщить ей страшную весть.

Задолго до рассвета к дому Раевских пришел самый уважаемый в селе пожилой крестьянин Василий Никанорович Елпзов, давний приятель Владимира Федосеевича. Скрипнув калиткой, вошел во двор. Дремавший возле сарая старый лохматый пес Антей спохватился, хрипло залаял, но, услышав знакомый голос, подбежал к гостю, приветливо вскинул ему на пояс лапы. Елизов полушепотом поделился с ним бедой: — «Нет более твоего хозяина», направился в дом. Переступив порог дома, перекрестился, тихо поздоровался. В комнате сумрачно. Маленькая лампадка, под образом святого в углу, слабо освещала диван, на котором полулежала Авдотья Моисеевна с повязкой на голове. Позабыв заранее приготовленные слова, Елизов, стоя у порога, растерянно промолвил:

— Болеешь... Моисеевна... Может, в чем нужду имеешь, завтра мой Митяй в Иркутск поедет...

— Благодарствую, Василии Никанорович, завтра Владимир должен возвратиться. Худо мне без него. Ох, худо... — И тут же с ноткой тревоги в голосе спросила: — Что это ты, Никанорович, сегодня пожаловал ни свет ни заря?

— Тут такое дело, Моисеевна... Я собирался в Малышевку, вчерась человек оттуда был... сказывал, что Владимир Федосеевич там сильно захворал. Ежели так, надобно привезти его домой...

Авдотья Моисеевна побледнела, лицо ее покрылось холодной испариной. Сердце подсказало ей, что стряслось непоправимое. И может, впервые за долгие годы она почувствовала необыкновенную боль в груди. Не говоря ни слова, поднялась с дивана, подошла к окну и, раздвинув занавеску, взглянула во двор, окончательно убедилась, что пришла беда: во дворе толпилось несколько человек. Но, пока в доме был Елизов, туда никто не входил.

Авдотья Моисеевна, как во сне, сделала пару шагов к дивану, тяжело опустилась на него; перед ее глазами плыли стены, потолок. Елизов что-то еще говорил, но она по слыхам. Она только нашла силы спросить:

— Он умер?

Для прямого ответа у Елизова не хватило мужества, он, переступая с ноги на ногу, начал что-то говорить. В это время с душераздирающим воплем в комнату ворвалась младшая сестра Авдотьи Моисеевны Марфа. Порывисто обняв Авдотью, запричитала пуще прежнего. Следом за сестрой в дом начали входить родственники, соседи, знакомые. Елизов, пятась, вышел во двор и, смахнув рукой слезу, давя щемящую боль во всем теле, направился к крестьянам, ожидавшим его.

В Малышевку вместе с Елизовым отправилось еще несколько крестьян. Не сговариваясь, они тайно решили, что если станет известен им убийца, они его прикончат. Они вспоминали тайные и открытые угрозы со стороны губернских чиновников, неблагоприятные дела которых покойный смело разоблачал. Смерть Раевского до сих пор осталась неразгаданной тайной. Однако доподлинно известно, что он в тот роковой для него день выехал верхом на лошади из

Александровского завода в деревню Малышевку по делам завода.

В нескольких километрах от деревни в роще его остановили трое неизвестных и потребовали слезть с коня. Как только он встал на землю, в тот же миг почувствовал сильный удар по голове. Упал с застрявшим в горле стоном. Дальнейшее он не помнил. На попутной повозке его доставили в Малышевку. Признаков ограбления не было; даже деньги, что были при нем, оказались в целости, только его оседланный конь бесследно исчез.

Несколько дней спустя Владимир Федосеевич умер. В кармане было найдено незаконченное письмо к сестре: «...Хотя я занимался такими делами, где при малейшем нарушении убеждений и правил я мог приобрести значительные деньги, но быть в разладе с моей совестью — значило бы унизить себя в собственных глазах, я смело иду к концу моей жизни».

Ночью над Олонками прошел обильный дождь. Ярко зазеленели листья деревьев и трав. Еще ранним утром на них блестели бусинки дождевых капель, но вскоре лучи июльского солнца осушили их. На улице было тепло и немного влажно. Печальный звон церковных колоколов напоминал о горестном событии: похоронах Владимира Федосеевича. Толпы людей стояли вокруг церкви. Пришли крестьяне из соседних деревень. Не обошлось и без жандармов. Два губернских жандарма на лошадях с раннего утра уже были в селе. Боясь, «как бы чего не вышло», они, не слезая с коней, наблюдали за толпой и недоумевали: столько людей не было даже на похоронах купца Кузнецова!

На кладбище гроб с телом Раевского несли самые уважаемые в селе люди. За гробом шли жена и сын Михаил, другие дети приехать не успели.

После похорон отца Михаил начал внимательно изучать все бумаги, оставленные им. Он часами просиживал в доме, никуда не выходил. В них он находил много нового для себя, начал задумываться не только над жизнью отца, но и над своей собственной. Вскоре он убедился, что не понимал отца, был равнодушен к его судьбе. Более того, революционную деятельность отца считал роковой ошибкой, как не понимавшего хода истории. Были далеки от мировоззрения отца и другие дети Владимира Федосеевича. Он не видел ни в ком из них своего духовного наследника, которому смог бы передать свою мечту, свою надежду.

Михаил извлек из сундука стихотворение отца, написанное задолго до его, Михаила, рождения, в 1828 году. Отец только прибыл в ссылку и был охвачен тоской и отчаянием:

*...И грозный рок мне грудь сковал
Несчастьем, как закаленной сталью.*

Михаил вспомнил, что отец однажды читал ему это стихотворение, но тогда оно прошло незамеченным. Сейчас же прочитал его дважды и задумался. Ему вспомнился разговор с отцом несколько лет назад. Было это в разгар лета. Вместе отправились на островок «Суслик». Там приятель отца Поликарп Степанович со своим сыном помогали убирать сено.

Поплыли к берегу островка. Время было обеденное. Голубизна неба отражалась в Ангаре, как в зеркале. В траве лениво трещали кузнечики, разморенные солнцем.

«И охота петь им в такую жару?» — заметил Владимир Федосеевич, направляясь к свежесложенной

копне сена, в тени которой сидели косари и хлебали уху.

Косари пригласили Владимира Федосеевича отведать ухи, но он отказался, пожаловался на отсутствие аппетита, боль в желудке и бессонницу.

Поликарп Степанович знал Раевского с первых дней поселения его в Олонках, выслушал его жалобу, сказал:

— Что ни говорите, Владимир Федосеевич, а счастливый вы человек. Детей хороших вырастили, грамоту большую знаете. Все у вас есть, все у вас хорошо, а то, что здоровье малость шалит, не беда...

— Милый Поликарп Степанович, есть такая легенда. Законодатель Древних Афин Солон, богатейший человек, говорил, что о счастье человека можно судить только после его смерти. Я придерживаюсь мудрости Солона. А помните, Поликарп Степанович, как лет десять назад мы этот участок выкосили за два дня?

— Как не помнить, все помню, Владимир Федосеевич. Даже ваш рассказ о годах, проведенных вами в Тираспольской крепости, хорошо помню. До сих пор тот рассказ в голове сидит...

После обеда Поликарп Степанович вместе с сыном продолжали косить, а Владимир Федосеевич пошел вдоль берега, любуясь густым и высоким травостоем. Михаил шел следом за отцом.

— Что же вы, папа, рассказали Поликарпу Степановичу, что он так долго помнит? — полюбопытствовал Михаил.

— Ничего особенного. То, что и тебе рассказывал, но у тебя, Миша, все пролетело мимо, а чужого человека задело за живое.

Михаил не то чтобы оскорбился упреком отца, но счел нужным как-то оправдаться и пробубнил:

— Вам ведомо, папа, что я нигде не оступился. Верой и правдой служил отечеству и, как и вы, получил отличие за храбрость.

— Неплохо, Миша, но ты никак не можешь или не желаешь уразуметь, что мы за разные дела получили сии награды. Я горжусь ею, а ты на подобную гордость лишен морального права.

— Я вас не понимаю, папа...

— В этом-то и вся беда, сынок. А казалось, чего уж проще. Я проявил храбрость против иностранных насильников, с мечом вторгшихся в нашу страну. А ты, ослепленный ложным патриотизмом и одурманенный императорской властью, поднял саблю против восставших польских братьев, которые не хотели жить под ярмом русского царя, как не хотят этого и наши поработанные соотечественники. Им надо было помочь, а ты, подавляя их, проявил храбрость...

— Так они же не у себя в Польше, а здесь, у нас, подняли бунт...

— А ты никогда не думал: почему они оказались в Сибири? За что их лишили родины? И это не в первый раз. Их отцы и старшие братья также были сосланы в Сибирь, примерно в то же время, что и я. Один бог знает, сколько их тогда погибло от секиры торжествующей несправедливости. Так было угодно нашему монарху. Ему не дороги национальные чаяния других народов... Что говорить о других, когда он и свой собственный не любит. Тебя, Миша, это не тревожит. Мне же слезы и стон наших крепостных крестьян никогда не давали покоя...

Михаил отложил стихотворение. В голове роились другие воспоминания о днях, проведенных вместе с отцом, и всплывшие неожиданно слова отца: «Ты поднял саблю против восставших польских братьев» — уже не покидали его.

Приближалась вторая годовщина со дня смерти Владимира Федосеевича. И хотя покойный завещал поминать его в день рождения, но, покоряясь обычаю,

Авдотья Моисеевна делала поминки в день смерти. Поздно легла спать, но какое-то время спустя проснулась. В саду между густых веток лиственницы кричала сова. Она словно ребенок то надрывно плакала, то заливалась раскатистым хохотом. Вначале Авдотья Моисеевна намеревалась выйти в сад и спугнуть озорницу, но не решилась. Она верила во всякие приметы, сейчас подумала, что, возможно, это покойный муж возвратился домой и, лишенный человеческого голоса, напоминает о себе голосом совы. От этих мыслей ей становилось жутко, мурашки ползли по телу. «И откуда она взялась? Никогда прежде не прилетала». Было за полночь, когда Авдотья Моисеевна поднялась с постели, зажгла лампадку, что висела у святого Николая-угодника, опустилась на колени и трижды перекрестилась. Совы не было слышно, но, как только легла в постель, сова снова заплакала пуще прежнего. Авдотья Моисеевна поняла, что она больше не уснет, поднялась и увидела лучик света, что пробивался из дверей комнаты сына, зашла к нему:

— Что же ты не спишь, Миша, не захворал ли?

— Нет, мам, я здоров, а вот вы почему не спите, не понимаю.

Авдотья Моисеевна ничего не сказала сыну о сове, но только напомнила ему, что завтра ровно два года, как умер отец.

Оставив сына, Авдотья Моисеевна теперь уже думала о его неустроенности. Тревожные мысли появлялись у нее оттого, что Михаил стал каким-то задумчивым и угрюмым.

...Три года горевала по мужу Авдотья Моисеевна, а когда почувствовала, что пришел ее черед, не испугалась, а приняла как неизбежное. Она верила в загробную Жизнь и надеялась снова встретиться с покойным и в чем-то принести ему облегчение. Последние дни думала о детях и внуках и в душе

радовалась, что у всех вышла благополучная жизнь. У всех, кроме Михаила. Михаила, как никого из детей, всю жизнь преследовали разные житейские неудачи. Собственная семья не сложилась, рано ушел из армии, не поладив с начальством. И хотя ему не было еще и сорока, он чувствовал себя утомленным жизнью.

Единственное, чего желала в последние дни Авдотья Моисеевна, — это еще раз увидеть детей, особенно дочерей. Тайно от Михаила написала им письма о том, что она помирает и просит приехать попрощаться. Письма еще были в пути, как ее не стало.

...Похоронив мать, Михаил почувствовал себя совершенно одиноким. Ему казалось, что со смертью матери оборвалась нить, удерживающая его на земле.

Единственное, что отвлекало Михаила от тяжких дум, были бумаги отца, которые он читал и перечитывал много раз.

Иногда жил в доме, когда-то построенном *отцом* на Александровском заводе. Постепенно перевозил туда свое имущество из Олонок. Дом в Олонках надобно было согласно завещанию отца передать под школу. И хотя его никто не торопил, но он понимал, что уже пришла пора выполнить волю покойного.

Последнее время Михаил чувствовал себя скверно и недели две в Олонках не появлялся, а когда приехал, то в тот же день пошел на кладбище. После прошедших дождей могилы родителей покрылись молодой порослью сорняков. Опустившись на колени, он тщательно, с корнем вырвал сорняк, благо земля была влажной, а потом ладонями рук подровнял землю, местами осунувшуюся с могил, и только после этого присел на маленькую скамеечку, которая была поставлена там еще при жизни матери, и, бывало, они вместе сидели на ней, вспоминали отца, который решительно отказался от предложения матери еще при жизни купить место для захоронения в церковной

ограде. «Там, где всех людей хоронят, там и мое место» — был его ответ.

Михаил знал, что, когда отец ездил на побывку в свою родную Хворостинку, он привез оттуда горсть родной земли, которую завещал положить ему на могилу. Сейчас он силился вспомнить, положили ли тогда эту землю или нет?

Михаил, сидя на скамеечке, склонив голову, грустил. Внизу, у его ног, на песочке муравьи успели «открыть путь». Сотни крохотных тружеников стремительно мчались по дорожке, уходящей в траву. Иные на короткое время возвращались обратно, словно разыскивая что-то потерянное, а потом снова устремлялись вперед. Михаил снял с травяного листочка маленькую гусеницу, положил ее на муравьиную дорожку. В считанные секунды муравьи окружили гусеницу и будто по чьей-то команде, общими усилиями выволокли ее прочь от дорожки. Еще два раза он возвращал гусеницу на дорожку, и каждый раз муравьи действовали так же согласованно и быстро, как и в первый раз. «Странно, люди так не сумели бы», — подумал Михаил, пытаясь проникнуть в тайну природы. Он так увлекся, что не заметил, как к нему подошел старый крестьянин села Дементий Колосов и, постучав палкой об оградку, сказал:

— Здравствуй, Михаил, давненько я тебя не видел.

— Здравствуйте, дедушка Дементий, как здоровье?

Старик уселся рядом с Михаилом, ладонью смахнул пот с лица.

— После восьмидесяти годков, сынок, о здоровье не спрашивают.

— Но, слава богу, вы, дедушка, еще бегаετε.

— Когда-то твой отец говаривал, что каждый человек — гость земли, а в гостях находиться долго не приличествует, а я вот подзадержался. Все мои дружки давно здесь...

На кладбище было тихо. От Ангары едва заметный ветерок приносил приятную прохладу. За рекой в синей мгле стоял вековой лес, он напомнил Михаилу, как еще в детстве они с отцом ходили туда за грибами и ягодами и однажды заблудились, а потом случайно встретились с тогда еще молодым Колосовым, и он помог выйти на дорогу. Хотел спросить деда, помнит ли он этот случай. Но дед продолжал свое:

— Каждую недельку прихожу сюда, местечко для себя присматриваю, хочу видеть, где меня положат, и каждый раз мое место занимает кто-то другой... Когда хоронили твоего родителя, я думал, что буду недалеко от него, ан нет, вон сколько могил появилось... Видимо, у господа бога строгая очередность имеется...

Рассуждения деда как-то по-своему растревожили душу Михаила, и он, глядя ему в глаза, спросил:

— Скажите, дедушка Дементий, не страшно умереть?

— Кому как, кто грехов много наделал на земле, тому, почитай, страшно, а нам нет... Скажу тебе, сынок, что страшно становится от дум, что могилку твою никто не проведает, все тебя забудут, вроде как и не жил. Вот давно ли похоронили Прокофия Редкина или Емельяна Духовникова, а могилы их, никем не ухоженные, крапивой заросли, кресты покособочились, гляди, еще годок-два — и не отыщешь их... Вот отца твоего люди долго чтить будут. Ему бы жить да жить. Господь послал покойному много ума и доброты к людям. А скольких людей он грамоте обучил, скольким помог!.. На той неделе я видел, что могилка его сорняками покрылась, сказал своим, обещали в воскресный день прибрать, а тут ты сам.

Старик поднялся, приблизился к могиле Владимира Федосеевича, поклонился ей, затем перекрестился, молвил: «Царство ему небесное» — повернулся и медленно поплелся к центру села.

Дед ушел, а у Михаила из головы не выходили его слова: «Кто грехов много наделал, тому, должно быть, страшно».

Михаил, как и его мать, был верующим. Он считал, что свободен от грехов. Однако на ум приходили слова укора, сказанные когда-то отцом: «Ты поднял саблю против своих братьев» — и тут же он видел самого себя несущимся на коне с обнаженной саблей, и крик молодого поляка с поднятыми вверх руками: «Не убивай, пан, я не виноват!»

...Михаил лежал в постели, не смыкая глаз. Он слышал, как шумели в саду деревья, а в окно настойчиво рвался ветер. Несколько раз подымался с постели, зажигал свечу, присаживался к столу, дрожащими руками брал перо, но долго не мог написать ни слова и только после того, как услышал шаги служанки в соседней комнате, пододвинул лист бумаги, торопливо написал: «Похороните рядом с отцом». Бросив перо на стол, отодвинул нижний ящик стола, нетвердой рукой взял пистолет и с каким-то ознобом, вдруг охватившим все тело, возвратился в постель, продолжая держать пистолет в руке...

Услышав выстрел, перепуганная служанка выскочила на улицу, но там никого не увидела, стремглав помчалась к дому Середкиных...

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. Ф. РАЕВСКОГО

1795, 28 марта — Родился в слободе Хворостянке Старосельского уезда Курской губернии.

1803-1810 — Учеба в Московском университетском благородном пансионе.

1811-1812 — Кадет Дворянского полка при 2-м кадетском корпусе.

1812, май — Сдал экзамен на прапорщика артиллерии и направлен в 23-ю артиллерийскую бригаду.

1812-1813 — Участвовал в Отечественной войне 1812 года. Награжден золотой шпагой «За храбрость». Получил чин поручика.

1813-1815 — Участвовал в заграничном походе русских войск.

1815-1816 — Адъютант начальника артиллерии корпуса. Создал кружок «Железные кольца».

1817, январь — Ушел в отставку «За ранами».

1817, ноябрь — Поступил в 32-й егерский полк.

1819, июль — Поступил в тайное общество Союз благоденствия.

1820, октябрь — Произведен в майоры.

1820-1822 — Руководил военными школами в Кишиневе.

1820-1822 — Написал работы «О рабстве крестьян» и «О солдате».

1822, февраль — Арестован за антиправительственную пропаганду. Посажен в Тираспольскую крепость.

1822-1824 — Написал стихотворения «К друзьям в Кишиневе» и «Певец в темнице».

1826, январь — Переведен в Петропавловскую крепость.

1826, август — Переведен в крепость Замостье.

1827, октябрь — Подписана конфирмация в Петербурге о ссылке в Сибирь.

1828, март — Прибыл в село Олонки на поселение.

1829, октябрь — Женился на крестьянской девушке Авдотье Моисеевне Середкиной.

1857, август — Амнистирован.

1868, лето — Поездка на родину.

1872, 8 июля — Скончался в д. Малышевке, похоронен на кладбище в селе Олонки.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



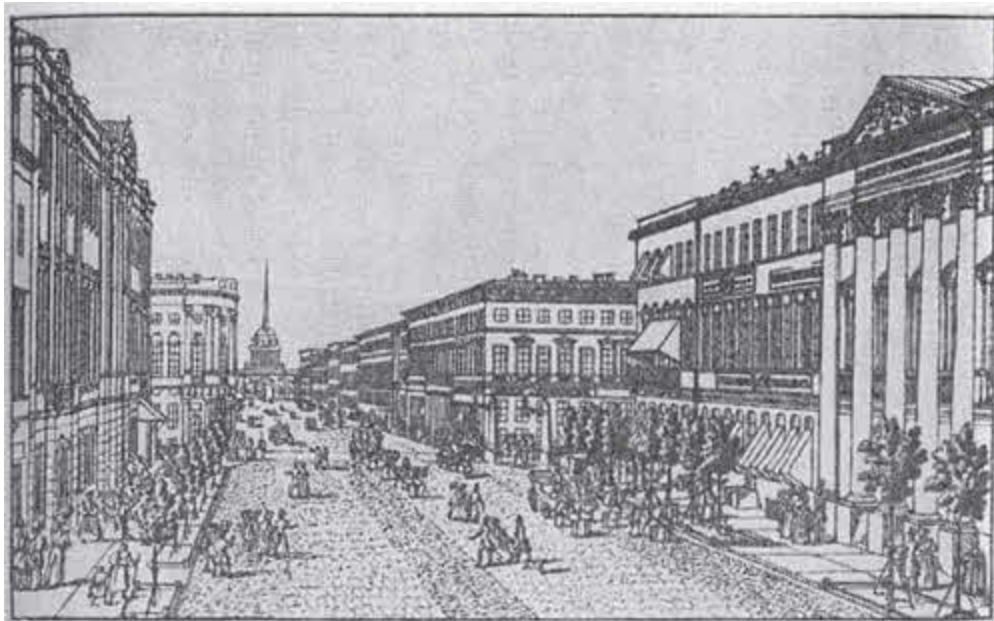
Мать В. Ф. Раевского — А. А. Раевская.



Отец В. Ф. Раевского — Ф. М. Раевский.



В. Ф. Раевский, реконструкция портрета худ. Н. П. Нератовой.



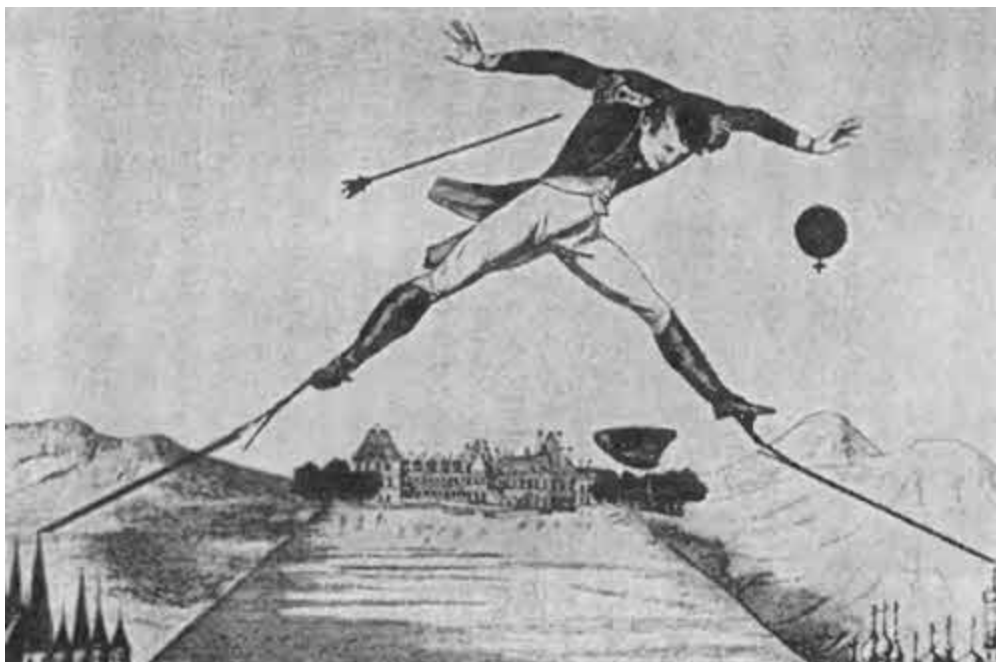
Невский проспект.



Сенатская площадь.



«Кто кого?» Худ. Мазуровский В. В.



Карикатура на Наполеона.



М. И. Кутузов, гравюра, 1813 г.



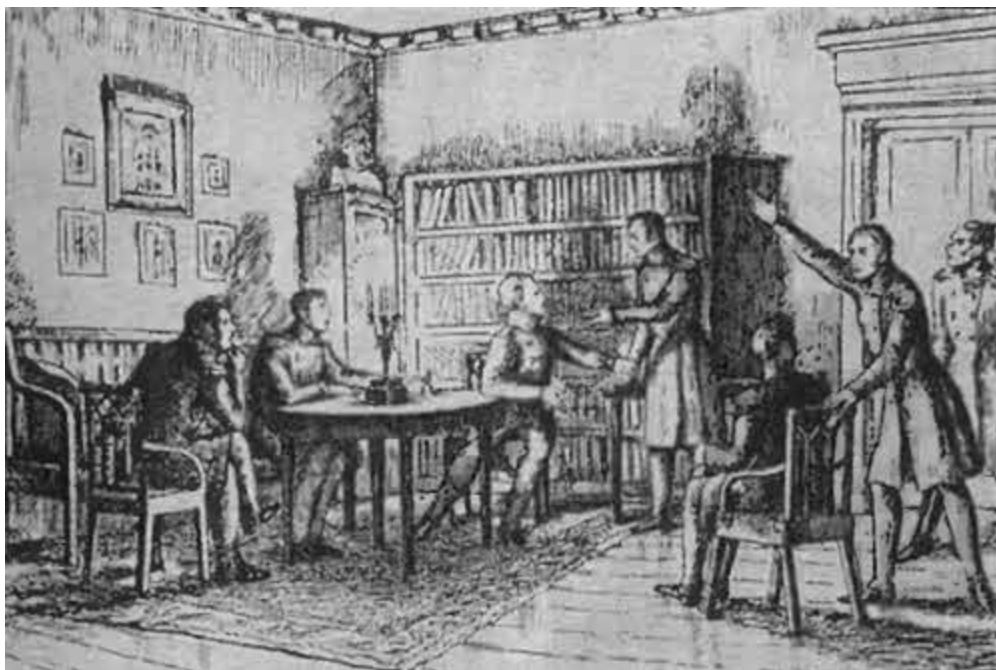
Подвиг солдат Н. Н. Раевского.



В. Ф. Раевский, рис. А. С. Пушкина.



***А. С. Пушкин читает кишиневским декабристам стихотворение
«Кинжал».***



Совещание декабристов, рис. А. Д. Силина.



Крепость в Каменец-Подольском.



П. И. Пестель.



Г. С. Батеньков.



С. П. Трубецкой.



И. И. Пуцин.



Н. М. Муравьев.



А. П. Юшневский.



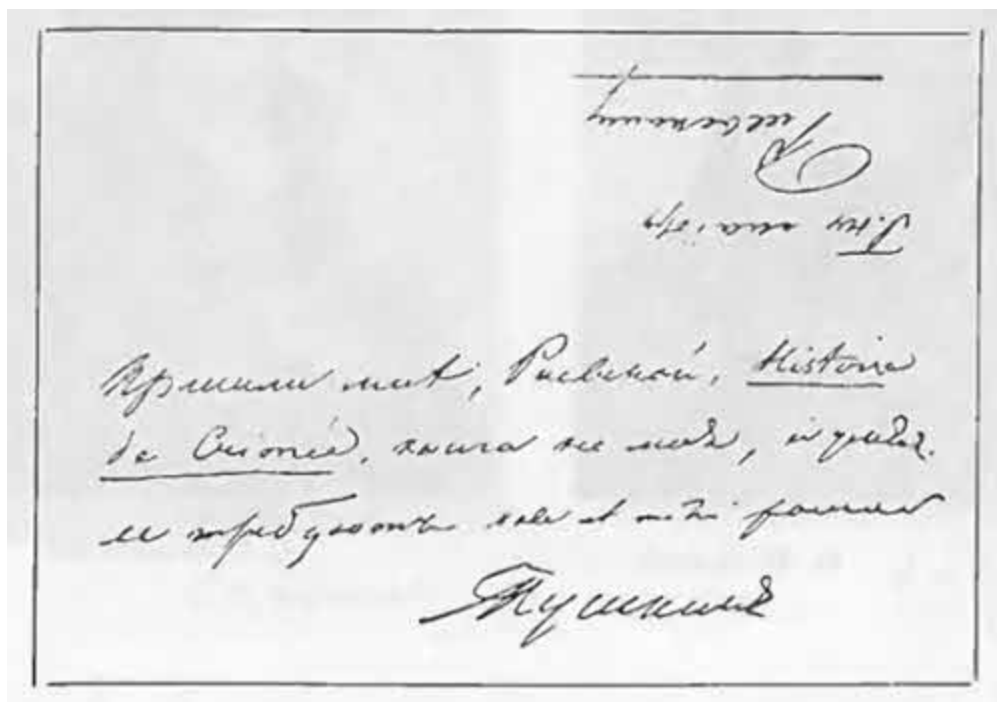
М. Ф. Орлов.



С. Г. Волконский.



А. С. Пушкин, гравюра Н. И. Уткина с портрета работы Кипренского.



Записка А. С. Пушкина к В. Ф. Раевскому, фотокопия.




А. С. Пушкин и В. Ф. Раевский, с картины худ. Б. И. Лебедева.

Кому 1-й раз даю изощряться
со мной Давидом, был изобретен
на Восток, при Византизме
Копии нехороши. —

Жаль что ты доволен Ми-
халовичем. Во 39. году сего
года из твоей на всемирную
жизнь, но все наша медаль
и награда много. —

Будь жалью Копиюю жаль
Копиюю медалию, отна сего
и отна тебе. — прощай.

Жалью преданная тебе



Жалью Михайловичу жаль в 1840.

Часть письма В. Ф. Раевского к К. А. Охотникову.



Генерал Воинов А. А.



А. К. Ипсиланти.



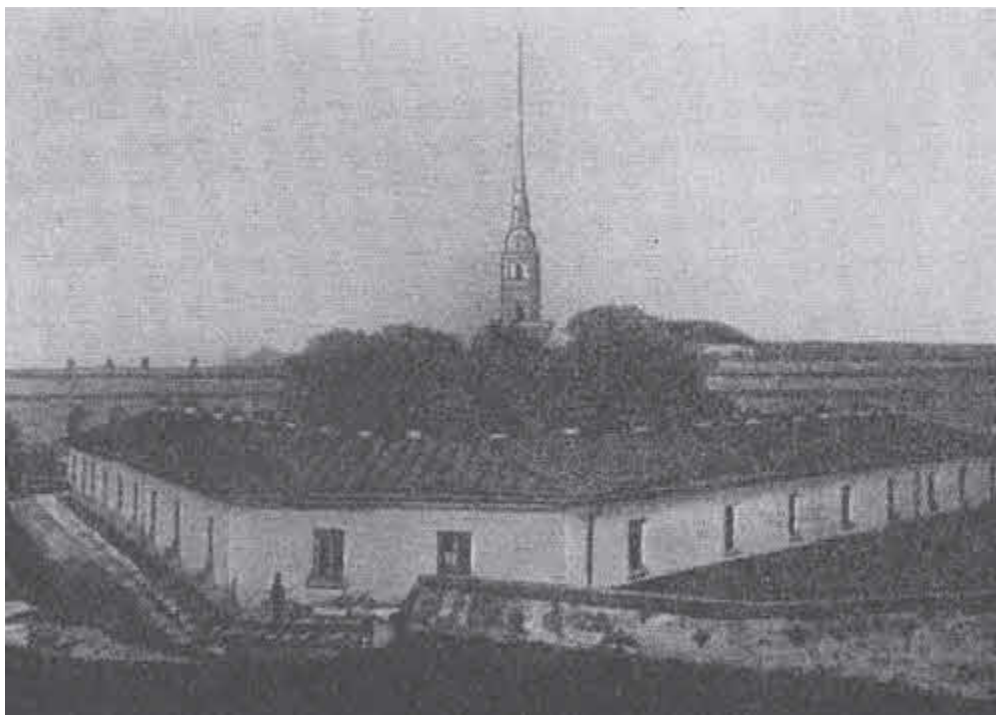
Дом Инзова в Кишиневе, в котором жил А. С. Пушкин..



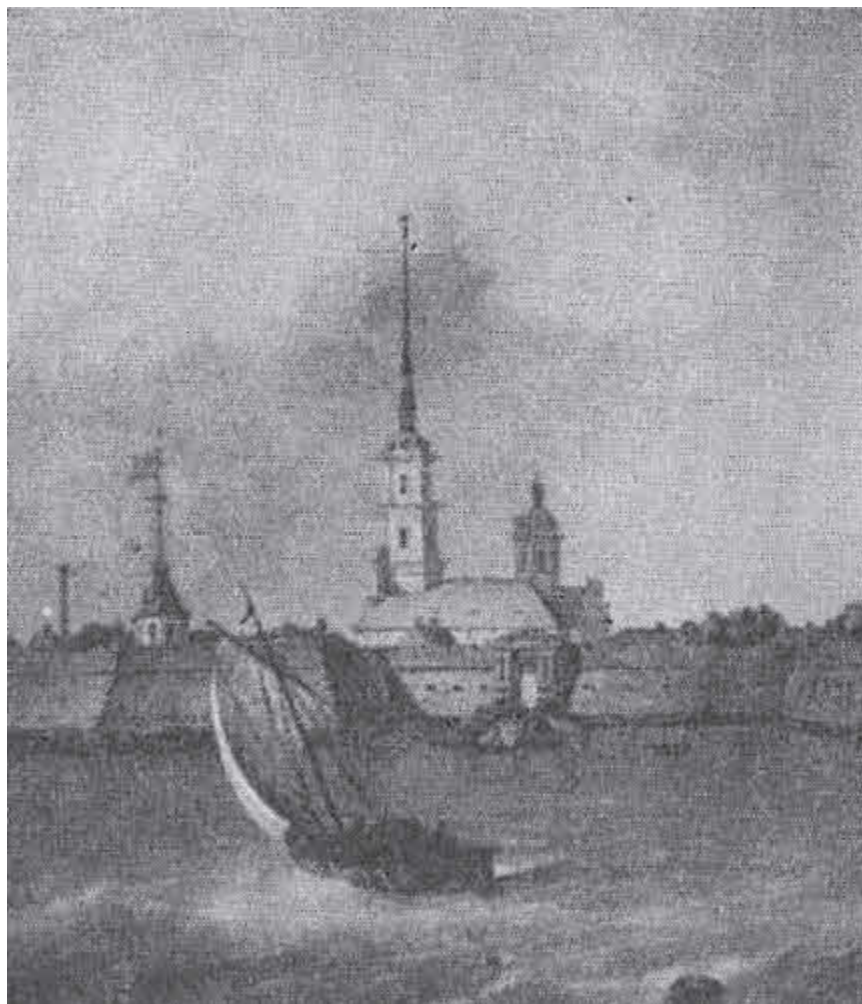
Александр I.



А. Х. Бенкендорф.



Александровский рavelин Петропавловской крепости.



Петропавловская крепость — место заключения декабристов.



Польское восстание 1830 года. Площадь Сигизмунда в Варшаве.



В. Ф. Раевский, фотография 1863 года.



Сибирский почтовый тракт.



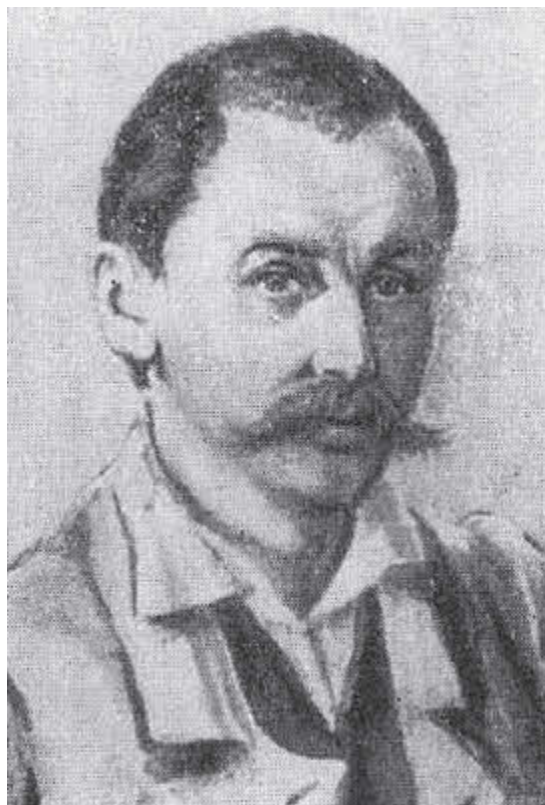
Фельдъегерская тройка.



На Сибирском тракте.



Красноярск, общий вид.



М. С. Лунин.



Д. И. Завалишин.



А. Н. Муравьев.



Ф. Б. Вольф.



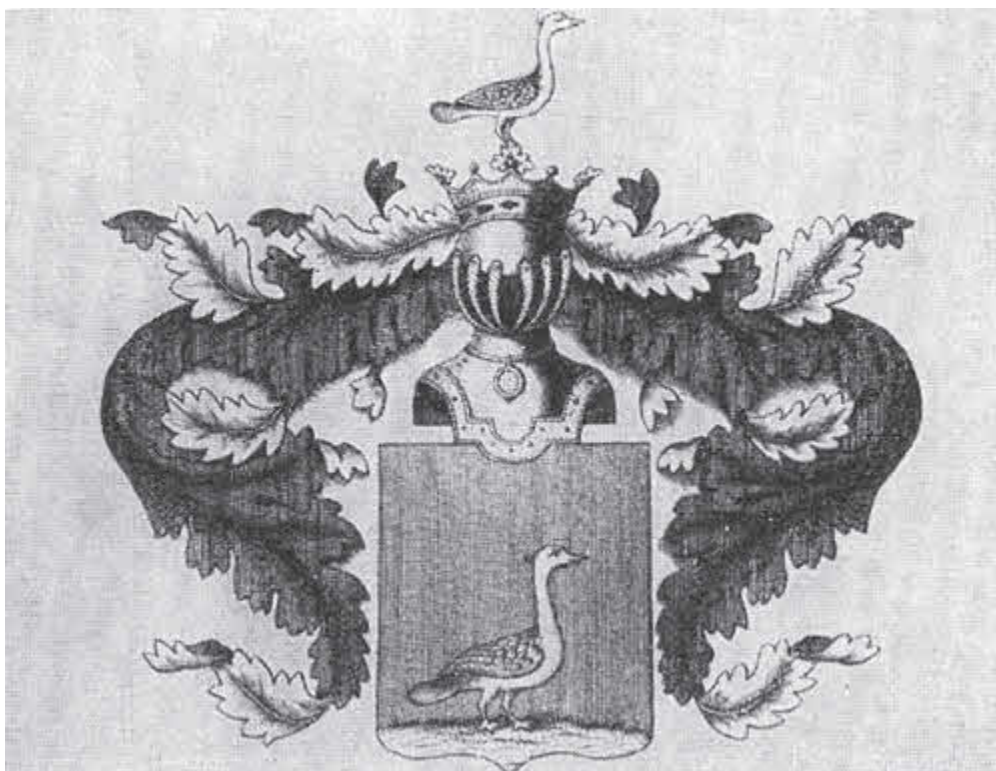
В. Ф. Раевский.



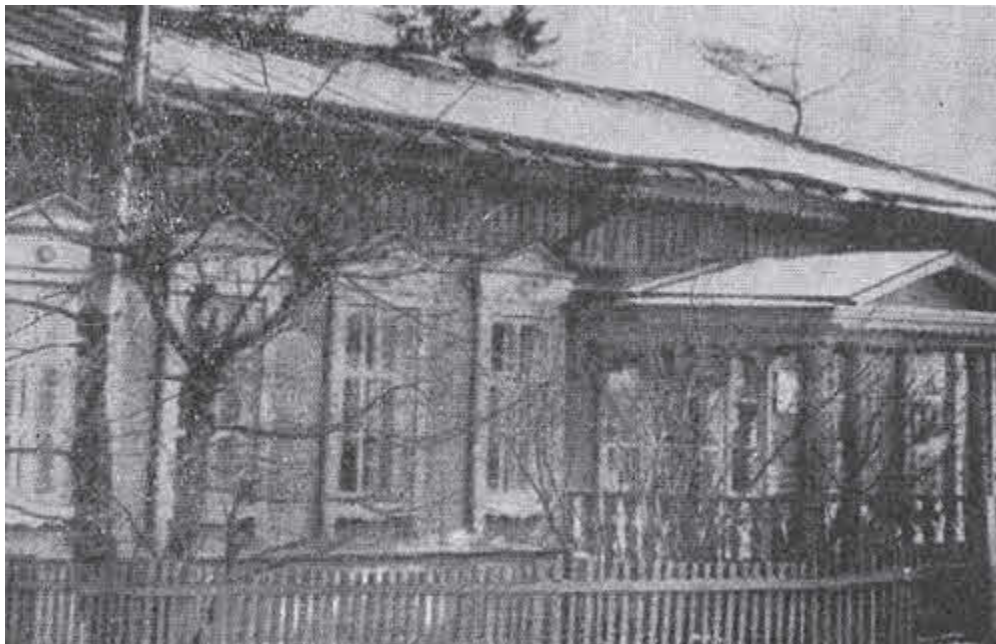
Е. М. Раевская — жена декабриста.



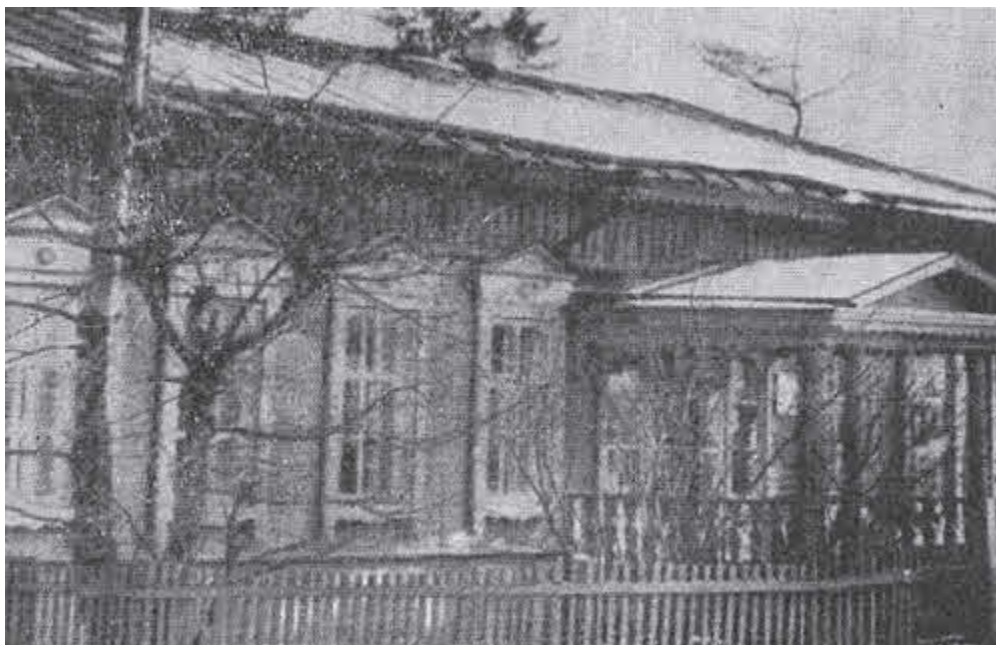
Село Олонки.



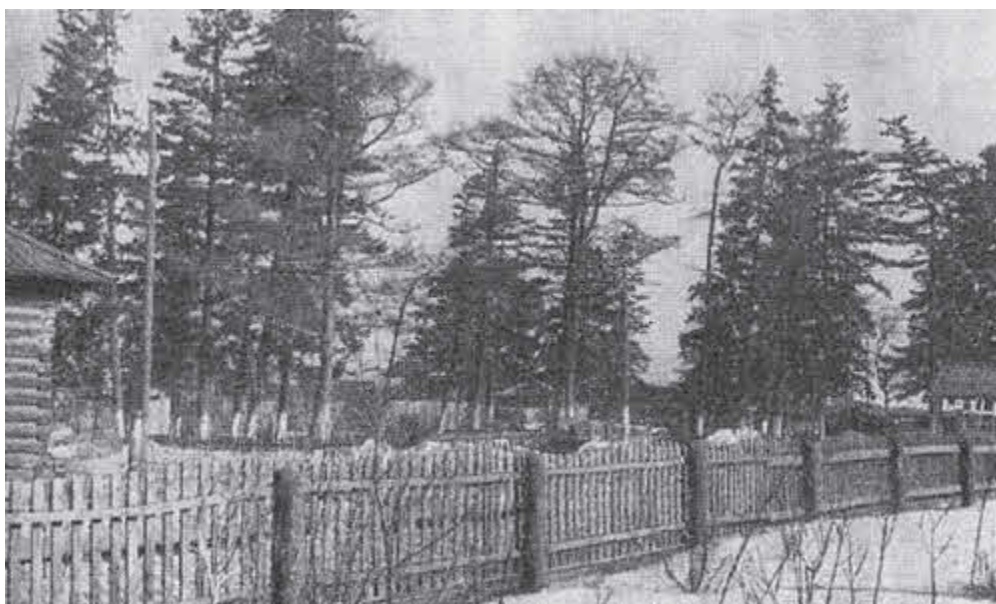
Фамильный герб Раевских.



Дом, в котором жил В. Ф. Раевский.



Надпись на доме В. Ф. Раевского.



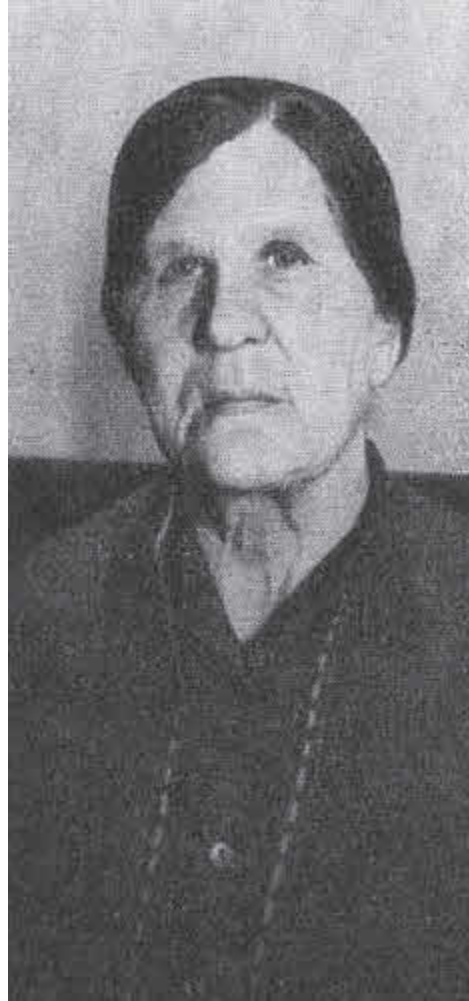
Сад в Олонках, посаженный В. Ф. Раевским.



Сестра Раевского — Любовь Федосеевна Веригина.



Дочь В. Ф. Раевского — София Владимировна, 1863 г.



Правнучка В. Ф. Раевского — Евгения Митрофановна Раевская, мать поэта Анатолия Жигулина.



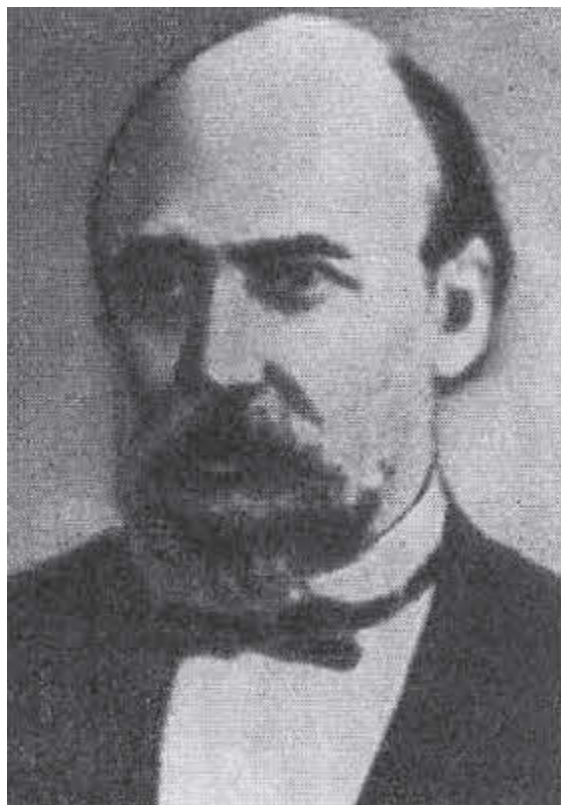
Анатолий Владимирович Жигулин.



М. В. Петрашевский.



Николай Слешнев.



Ф. Н. Львов.

Гену Состолицу а доелности Иркутского
Гранданиского Губернатора -

Марта 1887.

№ 175.

Прокурсе.

Учюна нудобности
в статейномъ спискѣ и
судебномъ приговарѣ о ссав
номъ въ Сибирѣ и водворе
номъ въ С. Влокахъ Вла
димира Раевского, а по сф
номъ прощю Вама
преѣ доставитъ намъ оны
а омыотъ о томъ и
свѣдѣнїа вноседанїа и
обратъ нимаа съ раевскомъ

Губернатора - Губернатора,

Губернатора - Лейтенанта Губернатора Губернатора

Губернатора - Лейтенанта Губернатора Губернатора

Запрос военного губернатора о поведении Владимира Раевского.



Генерал Витгенштейн П. Х.



П. Д. Киселев.



М. И. Сперанский.



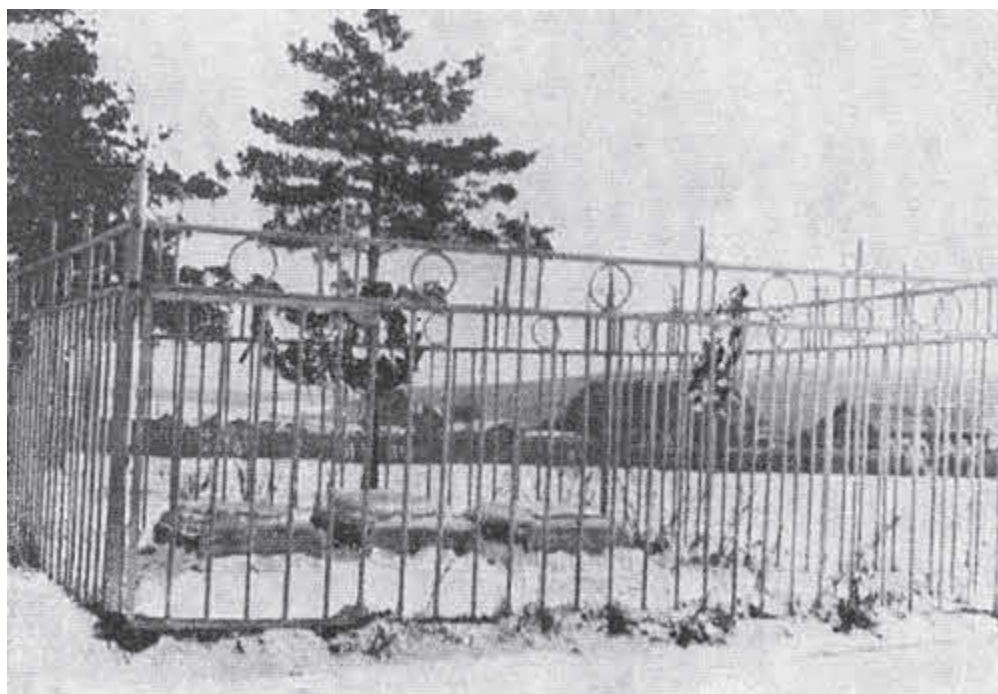
И. В. Сабанеев.



Памятник М. Ф. Орлову в Кишиневе, скульптор Ю. Канашин.



Дом двоюродного брата Раевского — Владимира Гавриловича, в котором останавливался Раевский В. Ф.



В центре — могила В. Ф. Раевского в с. Олонки.



Надгробная плита на могиле декабриста.

Воспоминания. 1841. г. Февраль 6.

1822. года февраля 5. в 9 часов пополуночи
кто-то постучался в мою дверь. Открыл
комнатный замок в секунду передо мной
появился неизвестный мне человек, который
и начал говорить со мной на русском.
Спросил меня: откуда вы? откуда вы?
Великодушный и из великодушных
сердц. Ах, Сергеев! Простите. — Спросил
еще: куда? — Не знаю, но думаю
что вы и я и друг друга из тех. — Запросил
и спросил: откуда вы? откуда вы? —
после этого он начал говорить
о чем-то, о чем-то... и так
мне? Ах, Сергеев! Спросил: откуда вы?
Итак, отсюда (т.е. отсюда) и так

Рукопись воспоминаний В. Ф. Раевского, 1841 г.



Памятник В. Ф. Раевскому в Тирасполе.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Раевский В. Ф. Воспоминания. Литературное наследство, т. 60, кн. I. М., Наука. 1956.

Раевский В. Ф. Сочинения. Ульяновск, 1961.

Раевский В. Ф. Полное собрание стихотворений. М.—Л., Сов. писатель, 1967.

Волконский С. Г. Записки князя Волконского. СПб., 1901.

Щеголев П. Е. Первый декабрист Вл. Раевский. СПб., 1905.

Довнар-Запольский В. Д. Мемуары декабристов. Изд-во книжного магазина С. Иванова и К⁰, 1906.

Кубалов Б. Г. Декабристы в Восточной Сибири. Иркутск, 1925.

Щеголев П. Е. Декабристы. 1926.

Базанов В. Г. Владимир Федосеевич Раевский. М., Наука.

Коваль С. Ф. Декабрист В. Ф. Раевский. Иркутск. Вост, — Сибир. кн. изд-во, 1951.

Федосов И. А. Революционное движение в России. М., Соцэкгиз. 1958.

Иовва И. Ф. Декабристы в Молдавии. Кишинев, Литература Артистикэ, 1975.

Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., Наука, 1976.

Колесников А. Г. В. Ф. Раевский. Ростов н/Д, Ростовский университет, 1977.

Раевский В. Ф. (Материалы о жизни и революционной деятельности), т. I и II. Иркутск, Восточно-Сибирское изд-во, 1980–1983.

Трубецкой Б. А. Пушкин в Молдавии. Кишинев. Литература Артистикэ, 1983.

Нечкина М. В. Декабристы. М., Наука, 1984.

INFO

Бурлачук Ф. Ф.

Б 91 Владимир Раевский. — М., Мол. гвардия, 1987. — 207 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 6 (675)).

В пер.: 1 р. 10 к. 150 000 экз.

Б 4702010200—101/ 078(02)—87 /157—87

ББК 63.3(2)47

ИБ № 5364

Фока Федорович Бурлачук
ВЛАДИМИР РАЕВСКИЙ

Заведующий редакцией *С. Лыкошин*

Редактор *В. Левченко*

Серийное оформление *Ю. Арндта*

Художественный редактор *А. Степанова*

Технический редактор *Т. Шельдова*

Корректоры *Т. Пескова, Н. Самойлова*

Сдано в набор 21.11.86 Подписано в печать 06.03.87 А00989 Формат 84x108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 10,92+1,68 вкл. Усл. кр. отт. 14, 59. Учетно изд. л. 13,0. Тираж 150 000 экз. (75 001–150 000 экз). Цена 1 р. 10 к. Заказ 2282.

Типография ордена Трудового Красного
Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия». Адрес издательства и типографии
103030, Москва, К-30, Сущевская, 21

notes

Примечания

1

Полотна.

2

Гаремы.

З

Чиновник военного судопроизводства.

4

Сундук в настоящее время находится в краеведческом музее села Олонки.